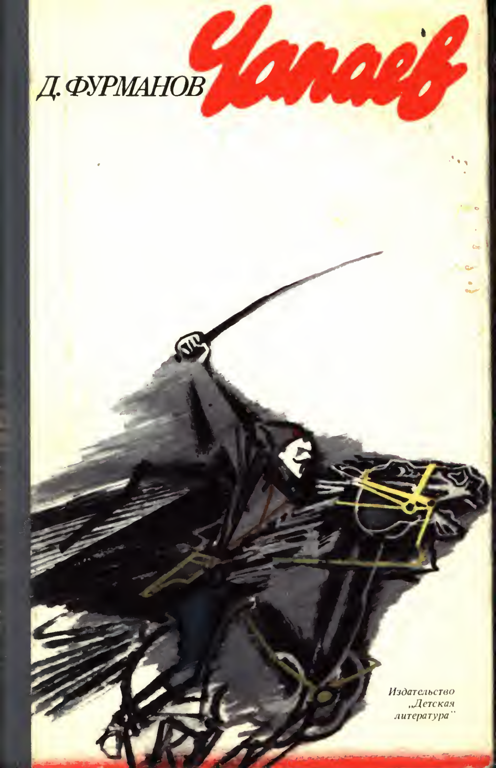

Д. ФУРМАНОВ
Чапаев
Издательство
„Детская
литература"

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Дм. ФУРМАНОВ

Чапаев

ПОВЕСТЬ

ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1983

Р2
Ф95

Текст печатается по изданию:
Дмитрий Фурманов. «Чапаев».
М., «Детская литература», 1971,
с исправлением некоторых неточностей,
допущенных в этом издании.

РИСУНКИ В. ЩЕГЛОВА
ОФОРМЛЕНИЕ Е. АНОСОВА

Ф $\frac{4803010102-117}{М101(03)-83}$ 251—83

I. РАБОЧИЙ ОТРЯД

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью. Многие только впервые одели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами. Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодцеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могутная чёрная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там их живо научат.

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься.

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узнаешь — в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди себе...

— Фертом ходит, што говорить. Сабля-то — словно генеральская, ишь таскается.

— Тереш,— окликнул кто-то смешливо,— саблю-то сунь в карман — казаки отымут!

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь. Генерал всмятку!

— Ага... га... го... го... Ха... ха... ха... ха... ха...

Терентий Бочкин — парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый — оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку.

— Я... те дам,— погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего? — хохотали неуемные острякн.— На-ка семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го!..

Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный, его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот. А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с быстротой — дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды.

— Понадобится — черта вытащим из аду. Скулили всё — обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она, ишь ты...— И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев.— Почитай, тыщу целую одели.

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть тыща, а там и еще собирается — и тем всё нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное, кто говорит,— скрепляла хриплая октава.

— Ну, как же не сурьезное: Колчак-то — он прет почем зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли.

— Эхе-хе! — вздохнул старина, маленький, щупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб.

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало,— пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое дело — тыща-то молодцов! Это, брат, д е л о — и большое дело, бо-ольшое! Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру, недалеко ходить — Павлушку возьмем, Лопаря: каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики, ты, вон она, на Марфушку на Кожаную глянь — тоже не селедка баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка; волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Говорю, что на воина ты крепко подошла, вот что!

— Подошла — не подошла: надо.

— Ясное дело, что надо.

Он минутку помолчал и добавил:

— Ну а т а м - т о — как?

— Чего — к а к?

— Дела всякие свои.

— Што ж дела...— развела руками Марфуша.— Ребят в приюты посовала, куда их деиешь?

— Куда деиешь,— посочувствовал и собеседиик. И, передохиув трудио, сказал соболезиующим, грудиым дыхом: — Ну, похраиим, похраиим, Марфуша, а ты ие терзайся: похраиим... Поезжай спокойиая, иам тут чего уж осталось и делать, как ие за вас работать? Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же...— кивиула Марфа.— Да и вериее всего, што так оио будет... иа одиом отряде разве можио смириться?.. Беспремеиио будет.

— И ребята, кажись, тово,— мотиул собеседиик иа вагоиы.

— Чего ж им? — ответила Марфа.— Только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, иадоело. Ехать и ехать — одио слыхать, чего толшиться? Э-гей, Аидреев! — окликиула Марфа кого-то из проходивших.— Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только иедавио приехавший в Иваиово, двадцатитрехлетиий юиоша с густыми темиосиими глазами, с бледиым лицом, стройиый и гибкий, с коммуиаркой иа голове, в истертой коричиевой шииелишке,— это Аидреев. Подходит четким шагом, точио иа доклад; поравиялся, щелкиул каблуками, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор иа Марфу чудесиыми серьезиыми глазами, отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок мииут!

Марфа дериула за рукав:

— Прощаться-то будем али иет? Ребята ждут — слово бы иадо прощальиое, што ли... Где Клычков? Куда ои там запропастился?

Аидреев сиова вскииул под козырек и тем же иевозмутимым тоиом отчекаиил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство.

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, обалдел, што ли? На вот, геиерала себе какого нашел!

Ои вмиг перетрепеиулся — и к Марфе чистым, звоиким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка, ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь, поди, что-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

— Да вон и сами идут, надо быть.

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливо выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел, словно сам себе ногой на ногу наступал, вихлястый такой.

С ним рядом — Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос, красивый и крепкий, что слыхали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком, не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке — это в январские-то морозы! На бледном, строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революцию быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала:

— Сейчас, надо быть, говорить станут.

— Отправляться скоро.

— Да уж раскланяться бы, што ли,— спать пора.

— А вот расцелуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.

— Первый, што ли?

— Первый.

— В двенадцать трогать зачнут.

— В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтншкн, дрянненькие шубейкн с плешнвымн, облезлымн воротннками, с короткимн рукавамн, протертыми локтямн; черные коротышкн-тужуркн — драповые, суконные, кожаные. Стнльная толпа!

Вокзал не шнрок, народу вбнрает в себя мало. Кто посмышленнее, зацепнлся за нзгородь, влез на подоконннк, многие забрались на прнстройку вокзала, свеснли головы, таращнлн глазами по толпе, скрючившнсь, внслн на дверных скобах. Иные, цепляясь за карннзы, занялн проходы, умостилнсь на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продраться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорнть. Попнскнвают, покряхтывают, поругнвают, побраннваются. Вот на ящнке показался Клычков,— шинелншка старая, обтрепанная: она унаследовалась от той войны. Без перчаток мерзнут рукн — он нх то н дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткне кулакн. Нынче лнцо у Федора бледней обыкновенного: две последнне ночн мало н плохо спал, днямн торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чнстый н звучный, глуховат, несвеж, гуднт, словно нз пещеры.

Клычкову далн первое слово — он будет от нмени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Речн должны быть краткн!

Федор обвел глазамн и не увндел концов черной массы — онн, концы, былн где-то за площадью, освещенной газовымн рожкамн. Ему показалось, что за этнмн вот тысячамн, что стоят у него на внду, тесно прнмыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за темн — новые тысячн, и так без конца. В эту последнюю мннуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любнма, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увнжу лн? Вернусь лн? Да н все вернемся лн когда в родные места? Приду лн еще когда н стану лн говорнть, как говорнл столь часто в этн годы?..»

Переполненный скорбным чувством разлукн, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крнкнул как-то особо громко — так он не крнчал ннкогда:

— Товарнщн рабочие! Осталнсь нам вместе минуты: пробьют последнне звонкн — и мы уедем. От нменн красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас,

своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод,— не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести мýку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте, дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да. Но если и не будет встречи,— что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завыла снежная степь — толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли, установилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена.... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движением руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно примяла к голове. И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но, как есть, одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка,— вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно, ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет, какая она будет, война? Мы не зря, рабочие-то, два эти

года мучились,— али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины: нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги — все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей — тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово.

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масляную кепку, в валенные сапоги старый ткач. Морщинилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости.

— Да, мы ответим... ответим...— Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседелую голову.— Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши — ничего, что тяжело,— скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить,— то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохия дни и про нас поминайте — оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками, грустно, внятно чмокнул: все равно-де выходу нет иного. Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребяты!.. Может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу.

— Может, тово... всего бывает... Мали ли што война-то?.. Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал

по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в остатний раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи.

Поплыли торопливым заливчатым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка — другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд — в вагонах. Ближе примкнула толпа,— но из вагонных окон нельзя различить отдельные лица. Ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный медведь-мохнач.

Третий звонок.

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатились...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

* * *

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, где только ржавые груды рельс

да скелеты ломаиых вагонов,— высыпали иа полотио, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу: куда, когда, иа какое дело? Теперь ли троиут враз али деиь-другой задержат в городе?

Все это можио было узиать только у Фрунзе. Фруизе уж командовал 4-й армией. Он выехал из Иваиово-Возиесеиска иесколько раньше самого отряда и теперь иаходился в Уральске, а здесь, в реввоеисовете, оставил записку на имя Федора. В этой записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Тереитий Бочкии и Аидреев гнали иемедлеиио к нему в Уральск, а отряд иаправится им вослед. Ои в теплых, сердечиых словах приветствовал земляков, коротко позиакомил с обстановкой, указал, какая всем большая и трудиая предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму.

— Отправить... телеграмму отправить!

— И сказать спасибо! — крикиул кто-то.

— Не то — «спасибо»,— перебили голоса,— сказать, что приехали, что готовы иа дело — куда какая помочь иужиа! Вот так!

— Правильио! Так и сказать: готовы-де иа дело! И сказать, что все как одии, то есть в самом лучшем смысле!

— Айда, ребята, составляйте телеграмму! Да здравствует Фруизе, ура!

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

Шапки, кепки, матерчатые шлемы взметиулись над головами, закидались иеладио в сторону, как галочья вспугиутая стая.

Федора в страстиый жар кииул дружеский тои записки — ои ею потрясал смешно иад головою, кричал, восторжеииый и иаивиый:

— Товарищи! Товарищи, вот оиа, эта малеиькая записка. Ее писал к о м а и д у ю щ и й а р м и е й, а разве ие чувствуете вы, что писал ее равный, совсем и во всем иам равиый человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тоиу разве ие чувствуете вы, как у иас от рядового бойца до комаидарма поистине одии только шаг? Даже и шага-то иет, товарищи: оба сливаются в целое. Эти оба — одио лицо: и вождь и рядовой красиоармеец! Вот в чем сила нашей армии — в этом виутреиием един-

стве, в сплочеииости, в солидариости, в этом сила... Так за иашу армию! За иаши победы!

И сиова красиоармейцы в иеистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «ура», выхлестывали радость, и гордость, и готовиость свою, словио камушки в буйиом шторме с морских глубии иа морские берега.

* * *

Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали комаидира и иаказали, чтоб был с отрядом готов к выступлеиию.

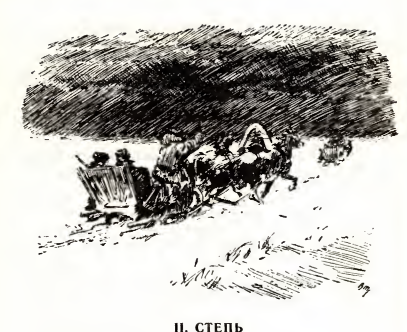
Назиачеииой четверке из ревсовета иапомиили:

— В Уральск уезжать иемедлеиио!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядиикамн. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоеисовета оттолкнулись две тройки: в первой сидели Федор с Аидреевым, в задией — Лопарь и Тереитий Бочкин.

Вскииулись кони, свистиул посвист ямщицкий, взвизгнул змеииой смешью кнут степиой — и в сиежиый метельиый порох легкий тройки пропали, как птицы.



II. СТЕПЬ

Морозно поутру в степи.

Возницы накруто укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые вороты от дремлющих седоков.

— Лопарь, озяб? — ссутулился к нему иззябший Бочкин.

— Гвоздит... до селезенки! — прохрипел уныло Лопарь.— Остановка-то скоро али нет?

— Кто ее знает? Спросить надо приятеля-то... Эй, друг,— ткнул он в рыжую овчинную тушу,— жилье-то скоро ли будет?

— Примерзли?

— Холодно, кум. Село-то скоро ли, спрашиваю.

— Верст семь, надо быть, а то... и двенадцать! — свеселил ездовой, не оборачивая головы.

— Так делом-то — сколько же?

— А сколько же! — веселым зубоскальем хахакал возница.

— Как ты село-то называл?

— Ивантеевка будет...

— А с Ивантеевки до Пугачева далеко?

— Да што же там останется?

Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю. Помолчал минутку. Сообщил:

— Ничего, можно сказать, не останется: к Таволожке осьнадцать да от Таволожки двадцать две,— как есть к обеду на месте!

— А сам ты как — из Николаевки? — выщупывал Бочкин.

— Из нее, откуда ж ищо-то быть?

И в тоне мужичка послышалась словно обида,— зачем, дескать, пустое брехать: раз в Николаевке брал седоков — известно, и сам оттуда.

— Ну, отчего ж, дядя? Может, и ивантеевский ты,— возразил было Бочкин.

— Держи туже — ивантеевский...

И дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

У мужичков такая сложилась тут обычка: привезет, например, какой-нибудь Карп Иваныч из Ивантеевки в Николаевку седока, а Иван Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уж дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца, а передает седока Карпу, и тот на усталых лошадях ползет-ползет с ним бог весть сколько времени. Тот ему потом, дяде Карпу,— услуга за услугу. Дядям это очень удобно, а вот седокам — могила: какой-нибудь двадцативерстный перегонишко тянут коротким шажком четыре-пять часов.

И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата: «Сверхсрочно... Без очередей... Экстренное назначение...».

Все эти ужасные слова трогали Карпов Иванычей очень мало — они ухмылялись в промерзлый ус, добродушно и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седока:

— Прыток больно. А ты потерпи — помереть успеешь, милай!

Терентий слышал про эту обычку возницкую, вспомнил теперь и понял, отчего так сладко и хитро причмокнул дядя.

— Зиаю, брат, иа обмеи иашего брата возите...

— А то иет! — оживился возница.— Зиамо, иа обмеи — все оио полегше идет.

— Ну, кому как...

— Никому никак, а все полегше,— рассеял ои Тереитьевы сомиеиья.

— Вам-то, зиаю, легче. Кто про то говорит,— согласился Бочкии.— А иам вот от этих порядков чистая беда: иа замореиных ие больио прокатишь, протащимся целый деиь.

— Это у меия-то замореииые? — вдруг обиделся возиица и круто обериул тулуп спииищей, молодецки вскииул вожжами, с гиком пустил коией, только сиег завихрил, запушил в лицо.

— Фью, родимые! Ага-а-а!.. Недалеко уж... Н-ио... соколики!

Мужичка ие узиать: словио иа гоиках, распалился он иад сиежиой пустыииой степью. И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повериул голову в высоком вороту, глухо заметил:

— Вот те и мореиые!

— Лихо, брат, лихо,— порадовались его седоки.

— То-то — лихо,— согласился дядя и степеиио добавил: — А что устамши бывают, иа то причииа — езда большая: свое справляй, иаряды справляй. Дьявол, и тот устанет, ие то што лошадь...

— А много, зиать, иарядов? — полюбопытствовал Лопарь.

— Мало ли иарядов,— живо отозвался мужичок.— Тут шатается иароду взад-вперед — только давай. И чего это мечутся, диву я даюсь: толь и шмыгают, толь и шмыгают, а все лошадей! И кому задержал — тыкву дать иоровит!

— Так уж и тыкву? — усомнился Лопарь.

— А то што, аль пожалишься кому?

— Врать-то вы больио, мужики, горазды,— сказал ои серьезио возиице.

— Ну, сам соври получше,— чуть обиделся дядя, трудио повертываясь на облучке.

— Это еще што! — в раж входил Лопарь.— Выдумает себе вот человек какую-нибудь историю, да и верит в иее... Верит себе и верит, что ты стаиешь делать?

— Да... историю...— бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повернут был разговор.

— Били тебя самого-то когда? — спросил Лопарь.

— А нешто не били? Один такой вот, как ты, шашкой зубанул. Ладно, тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул.

— Чего он, пьян, што ли, был?

— А видно, што пьян...

— Ну, с пьяного и спрашивать нечего,— будто невзначай, уронил Лопарь слова.

— Так я и не спрашиваю...

Терентию захотелось разузнать, как тут дела с советами: крепки ли они, успешно ли работают. Он перебил уклончивую речь возницы и стал задавать другие вопросы.

Но и здесь услышал он ту же неувязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался.

— А пущай... всего бывает... Чего же нам теперь? — получал Терентий завитушки слов вместо серьезных и ясных ответов.

— Да не поймешь ничего, говори яснее! — не выдержал и раздражился Лопарь.

— Недогадлив больно, паренек. А ты подумай — може, и догадаешься...

— Нет, подожди ты, подожди,— остановил Терентий Лопаря, опасаясь, что тот сорвет беседу.— Что совет-то, спрашиваю, хорош тут али не больно? Делом ли занимается?

— А чего ему не делать-то, известно... Наряды вот Горшков только неправильно...

— Неправильно? — И Лопарь на живое слово кинулся, как кошка на мясо.

— Так а што ж: тестя небось кажин раз норовит обойти, а нашему брату знай подсыпает, когда и очередев-то нету никаких.

— А ты жаловался бы,— подсказал Терентий.— В совет иди, докажи, расскажи: ему живо усы-то подкрутят.

— Да, подкрутят,— упадочным голосом сглушил мужичок и безнадежно прихлопнул по крупу вожжами,— того гляди, подкрутят: сам как раз и угодишь, куда не надо...

— Ну, что это чушь-то молотишь? — осердился снова Лопарь.

— Не «молотишь», а так точно навсегда,— сокрушенным голосом сказал возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону.

— Случаи были? — крепко и прямо, словно следователь, спросил Терентий.

— То-то и дело, были...

— Ну, и что же?

— Ну, и ничего же,— повел мужичок заиндевелыми губами.— Было, да и не было. «Жил да помер до сроку — всего и проку»...

— А молчали што? — вгрызался Лопарь.

— Да так и молчали, чтоб тише было,— невозмутимо и тонко пояснял хитроватый мужичок.— Как помолчишь, оно само отходит.

— Шутка шуткой,—отсек Лопарь,—а того...—И, словно спохватившись, прибавил добродушно: — Да, впрочем, убыток ли еще тебе ехать-то, дядя? В советах вон бумажки висят везде: «Едешь — плати, што берешь — опять за все плати». Читал? Видал сам-то?

— Видал... Пущай висит...

Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк — он привык разговаривать в городе, с рабочими, в открытую, совсем по-иному, а так не умел.

Уклончивые, невнятные хитрецкие ответы раздражали его не на шутку.

Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова, а терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туманных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок.

* * *

В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор.

— Ты сам был, Гриша, у него в отряде? — спрашивал Федор парня.

— Так и ногу с ним навредил,— ткнул Гриша пальцем в сиденье.— Все лето по степям из конца в другой гоняли: они за нами охотют, а мы норовим, как бы их обмануть.

Ч е х а — этот дурак, а вот к а з а р у не обманешь: сам здесь вырос — чего от его ждать?

Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо: мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда в волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый, широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в масляных морщинах — ну, лицо как лицо: ничего примечательного! А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, к о р е н н а я, настоящая. Грише было всего двадцать два года, а по лицу глядя, вы дали бы ему и тридцать пять: труды батрацкой жизни и страданья с оторванной в бою левой ногой положили неизгладимые печати.

— Ну, и что он, молодой? — любопытствовал Федор, продолжая начатый раньше разговор.

— Да, молодой совсем: тридцати годов, надо быть, нету...

— Из здешних, што ли,— казак?

— Какой казак... От Пугачева тут деревня будет Вязовка — в ней, надо быть, и жил. А другие говорят — в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет!

— Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится проронить каждое слово.

— Да ведь што же сказать? Однем словом — герой! — как бы про себя рассуждал Гриша.— Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...». Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь — словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет,— любил усы-то, все расчесывался... «Сидишь?» — говорит. «Сижу, мол, товарищ Чапаев».— «Ну, сиди». И пройдет. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал — и будто радость тебе делается новая. Вот што значит н а с т о я щ и й он человек!

— Ну, и герой... Действительно герой? — щупал Федор.

— Так кто про это говорит? — значительно мотнул головою Гриша.— Он у нас ищо как спешил, к примеру, на Иващенковский завод! Уж как же ему и охота была рабочих спасти! Не удалось, не подоспел ко времю.

— Не успел? — вздрогнул Андреев.

— Не успел,— повторил со вздохом Гриша.— И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было — н-ну!..

Гриша тихо махнул рукой и опрокинул тяжелую голову. В грусти промолчали целую минуту. Потом Гриша тише обычного сказал:

— По-разному говорят, только уж самое будет малое, коли две тысячи считать. Так их между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был — и женщины там, и ребятишки, ну, и старухи которые,— однем словом, скажу — всех без разбору.

Он слышно скрежетнул зубами и дернул за вялые вожжи.

— Видел сам-то? — пытал его Федор.

— Как не видать?.. Да уж и говорить бы не надобно... Што же тут видеть: кровь да мясо в грязной земле... Без разбору, подлецы, так на очередь и секли...

— Ну, а он-то как, сам Чапаев?

— Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, как конь во скаку. Шашку с размаху о камень полоснул. «Много будет,— говорит,— крови за эту кровь пролито! И вовеки не забудем и возьмем свое!..»

И опять помолчали. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу:

— А што ж, Гриша, у него за народ был, бойцы-то? Откуда они?

— Так, здешние, кому ж идти? Наш брат пошел, батрак, да победнее который... Бурлаки опять же были. Эти даже первее нас ушли...

— Што же, полк, што ли,— чего у вас было?

— Да, был и полк, когда в Пугачах стоял, а потом все больше отрядом звали; он и сам, Чапаев, полком-то не любил прозывать: отряд, говорит, да отряд, это больше к делу идет.

— Н-да... отряд... Ну, а раненые с отряда, убитые у вас, их-то куда девали?

— Девали,— раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями.— Всяко девали: то не успеешь подобрать — этих казара докалывала; небось не оставит. А кого заберешь — по деревням совали: тут у нас везде народ

свой. И здесь вот бывали, в Таволожке. Да где не было — везде было...

— А лечили как?

— Тут и лечили, только лекарств, надо быть, не было никаких, а чем бабушка вздумает, тем и помогает... Коли другой в город спроворит, этому еще туда-сюда, а здесь-то, по деревням,— эге, как залечивали! Ну и где же ей, бабе темной, ногу закрыть, коли от ноги этой жилочки только болтаются да кости крошеные в погремушки хрустят? Какой тут баба лекарь человеку?

— А были такие? — с дрожью в голосе справился Федор.

— Отчего же не быть: на то война.

— Вот правильно! — брякнул неожиданно Андреев, все время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого али чем недовольный.— Верно говоришь! — повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине.

— Ну, известно,— махнул тот весело рукой.— Всего бывало!

— Гриша,— перебил Федор,— Гриша, а питались по деревням же?

— По деревням,— осанисто ответил парень, видимо очень довольный, что так им интересуются.— С собой возили мы мало, и где его возить, куда девать было? Тут все по деревням: они придут — они берут, мы придем — опять берем. Деревне кругом пятнадцать выходило, куда ни заверни!

— Да, тяжеленько было,— вздохнул и Клычков.

— Всем тяжело было... А нам рази легко? — подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно.

— Конечно, нелегко,— торопливо поддакнул Федор.

— То-то и оно,— успокоился Гриша.— Всяко было! Мало ли што,— откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать, овса ли лошадям аль и лошадей сменить, коли своих невмоготу уморим: надо было... Раз надо, значит давай — разговор короткий. Ты целые сутки не жрамши, скажем, да с походу, а тут хлеба куска не дают. Перво-наперво словом: дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш кажет. Дак в улыбку, што ли, с ним играть? Ну, тут под арест кого, а што пузо потолще — и в морду заедешь. Где с ним рассусоливать.

— Били? — затаил дыхаиие Клычков.

— Бнлн! — ответил просто и твердо Гриша.— Все били, иа то войиа.

— Молодец, Гришуха! — сиова н весело сорвался Аидреев.

Аидреев любил эту чистую, иезамазаииую, грубоватую правду.

— А меия ие били? — обериулся Грнша.— Тоже били... Да сам Чапаев едииожды садаиул. Что будешь делать, коли иадо?

— Как Чапаев? За што? — встрепеиулся Федор, услышав (в который раз!) это магическое, удивительиое имя.

— А я иа карауле, видишь ли, стоял,— докладывал Гриша,— что вот за Пугачами, вовсе близко, станцня какая-то тут... забыл ее звать... Стою, братец, стою, а иадоело... Што ты, думаю, за паршивое дело это — на карауле стоять! Тоска, одиим словом, заела. А у самого вокзала березки стоят, н иа березках галок, гляжу, вндимоиевндимо: га-га-га... Ишь раскричалнсь! Пальиу вот, не больно, мол, гакать станете. Спервоначалу-то подумал смешком, а там и иа самом деле: кто, дескать, тут увндит — мало ли иароду стреляет по разиым надобиостям? Прицелнлся в кучу-то: бах, бах, бах...— да весь пяток и выпалнл сгоряча. Которых убнл — попадалн сверху, за сучки это крылышкамн-то, помию, всё задевалн да трепыхалнсь перед смертью. А што их было! Тучами так н подиялнсь... Подиялнсь, да и загалдели. Кто его зиал, что ои у коменданта сндит, Чапаев-то? Выходит — туча тучей.

«Ты стрелял?»

«Нет,— говорю,— ие стрелял: ие я!»

«А кто же галок-то подиял?»

«Так, вндио, сами,— говорю,— полетели!»

«А ну, покажн!» — и хвать за внитовку.

За вннтовку хвать, а оиа пустая.

«Што? — говорит.— А патроиы где,— говорит,— возьмешь? Казаков чем будешь бить, колода? Галка тебе страшиее казака?» Да как двиием прикладом в бок!

Молчу — чего ему сказать? Спохватнлся, да поздно, а иадо бы по-иному мне: как иоровнл это за виитовку, а мие бы отдернуть: «Не подходн, мол, застрелю — иа карауле иельзя внитовку щупать!» Он бы туда-сюда, а не

давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил, все бы простил разом...

— Любил? — прищурился любопытный Федор.

— И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее. Навсегда уважал твердого человека, что бы он ему ни сделал. «Молодец,— говорит,— коли дух имеешь смелый». Ну, а где же все перескажешь? А вот она и Вантеевка,— обрадовался Гриша.

Он пересел, как подобает вознице, ударил звучно вожжами, сладко чмокнул, присвистнул и уж не беспокоился вплоть до самого села.

Только раз обернулся:

— На совет подвозить-то?

— Да, да, к совету, Гриша.

— А то к Парфенычу бы, он вот про Чапаева расскажет.

— Кто это Парфеныч-то?

— А из наших, в отряде же был раньше меня. Да руку ему оборвало напрочь, с тем и воротился.

— Здешний житель?

— Здешний. Ну бесхозяйный же теперь — все начисто испортили казаки: избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили. Поправил, да плохо.

— Укажи, проезжать-то будем,— на всякий случай напомнил Федор.

— Укажу.

Въехали в Ивантеевку — большое, просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернет в берлогу — засыплет, закроет, снегами заметет. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для форсу на легкой рыси. В одну избушку ткнул пальцем. Это была Парфенычева изба. На другую показал, обернулся быстро, щелкнул молча себя по шее, ухмыльнулся: надо было, видимо, понимать, что в этой гонят самогонку. Подкатили к совету; он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего правления. Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные, заиндевелые тулупы, зацепили под мышку и в руки свои корзиночки и узелки (жалкий скарбик: у каждого весом полпуда!), по ступенькам поднялись в помещение совета.

Совет как Совет: просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. Еще рано, в городе теперь еще никого не найдешь по учреждениям, а тут, глядн-ка, что народу наползло! И чего только они с этаких позаранок делать хотят? Притулившись к коричневой сальной стене, вертят цигарки, махорят, прованивают и без того несносный, кислый воздух; жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холодка рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами... Видно, что многие, большинство может быть, все толпятся без дела: некуда деться, нечего делать, так и сползлись.

Увидя вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели, высказали разные соображения насчет мороза, усталости, направления и цели поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про недохватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно «ни в каких смыслах».

— Здорово, товарищи,— обратился Лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь последним.

— Здравствуйте,— промычало несколько голосов.

— Председателя бы повидать...

— А вот сюда,— и указали на комнату в стороне за отгородкой.

Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четверки: вел переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться перекусить, и прочее и прочее.

Андреев тулупа не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча дал закурить и тому. Терентий уже вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как совет работает, довольны ли советской властью,— словом, с места в карьер.

Федор полон был рассказов Гриши. Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана.

«Это несомненный народный герой,— рассуждал он с собою,— герой из лагеря вольницы — Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те в свое время дела делали, а этому другое время дано — он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, Чапаева, удаль и молодечество — главные в характере

черты. Он больше именно г е р о й, чем сознательный революционер. В нем преобладают, по-видимому, и возбуждены до чрезмерности элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений. Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Федор узнал от мужичков, как пройти к Парфенычу, и когда Лопарь после разговоров с председателем совета повел компанию чаевничать, Федор с ними не пошел, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу.

Часа через полтора уезжали из Ивантеевки. Федор сидел молчалив и мрачен. Парфеныча не застал — тот уехал накануне в Пугачев. Андреев задал ему пару-другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но, увидев, что не клеится ничего, умолк.

Терентий с Лопарем сидели-сидели, надумали песни петь.

Дуэт был примечательный: Лопарь не пел, а только всхрипывал, Терентий визжал дичайше и фистулой. Получилось нечто жуткое, путаное и резкое.

Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо согласившись, смолкли. Продремали до самой Таволожки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей — тронули на Пугачев.

От Пугачева до Уральска ехали целых два дня, а тут и пути-то — рукой подать!

III. УРАЛЬСК

В Уральске со станции позвонили. От комендант прислали двое розвальней, погрузились ребята со скарбишком, поехали в Центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный, в номерах и сыро, и грязно, и голо: не на что сесть, не на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако ж, приладились, осмотрелись, закрепили за собой номерок,— так вчетвером в одну комнату и вобрались: не хотелось дружкам разбиваться. После того как с морозу оглушили пару самоваров подряд, бродили по городу — не знали, куда девать свободное время. Еще на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции — руководить открывшимся наступлением. В это время ближние позиции находились от Уральска всего в двадцати верстах, и надо было торопиться отогнать неприятеля возможно дальше. Впрочем, эти первые бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не тогда, а только позже, когда разработан был и более широкий и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон: не только от Уральска, но еще и со сторо-

ны Александрова-Гая иа станицу Сломихинскую и через нее вперерез большому пути Уральск — Лбищенск — Гурьев — пути, по которому должны были гнать казаков красные части, иаступавшие с севера.

Но об этом потом, потом; всему свое время — к страдному пути от Уральска на Гурьев придется вернуться не раз.

* * *

В один из ближайших вечеров, после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму: Лопарю и Бочкину иаутро ехать в бригаду!

Кончено, приступила пора расставаться!

У всех состояние было особенное, прощальное, полное неожиданных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что ехать наутро, а двоим, может быть,— вслед за ними. Они же этого только и ждали! И все-таки были настроены все четверо по-особениому. У Лопаря и Тереития вдруг проявилась иебывалая воинственность, словио они только и знали до сих пор, что воевали. Андреев был мрачнее обыкновенного, Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал иервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей.

Утром в саночки посадили Терентия с Лопарем, простились, расцеловались,— уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма: Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же, в дивизии; Федору Клычкову ехать в Александров-Гай, наладить политическую работу в организующейся группе, начальником которой назначается Чапаев.

Как прочитал, так и обмер Федор, не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз — сомнений нет никаких:

Ч а п а е в...

Ударило вдруг в виски, задрожала толчками кровь; он сразу слова не мог сказать от волненья.

«С таким героем... С Чапаевым плечом к плечу... Как это удивительно все сложилось!.. Что-то выходит диковинное: то я мечтал о Чапаеве, как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, совсем рядом, запросто, как теперь вот с Андреевым... Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем?.. Ух, интересно как сложилось!»

С того момеита Федор полон был одиою только мыслью, одним только страстиым желаннем — скорее увндеть Чапаева, н о чем бы ни заговарнвал, сводил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом-Гае нет, он туда только собирается ехать, но все равио, все равно... В Александров-Гай иадо спешнть немедлеино! И Федор не стал дожндаться следующего дня, собрался часа через три. С Андреевым простилнсь по-прнятельскн, сердечно н просто. Федор уехал. Андреев остался в Уральске однн.

* * *

Федору иаговорнли, что поездом докатят его к Алгаю (так коротко звалн Александров-Гай) чуть лн не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту пересадкн. Трн пересадкн — шутка сказать! Кто езжал в 1919 году по железным дорогам, тот поверит, что выдержать в путн три пересадкн — дело мучнтельное н вовсе не легкое. По прнблнзительным подсчетам, подгоияя к средней норме, Федор установнл, что поездка эта отинмет неделн полторы. Поэтому передумал, слез в Дергачах, взял лошадей и тронул на перекладных: тут напрямик до Александрова-Гая полтораста верст.

И снова степь, просторы, голубые горнзонты, беспредельные простынн снега. Кой-где уж появнлись проталнны — чернеют бугоркн обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем солнце, тепло, значнт скоро весна закружнт хороводами. По степн села здесь редкн: двадцать пять — трндцать верст одно от другого; живут онн сытой, замкиутой жнзнью; тут и невест по другнм селам мало отдают — обходятся своими, всех н на всех хватает вволю. Каждое село — будто небольшая республнка: чувствует себя незавнснмо, нн в ком н нн в чем не нуждается, нмеет большую склонность к самостийностн. Этн большие села, что прнходнтся проезжать до Алгая, сыгралн огромную роль в нсторнн гражданской войны уральскнх степей: Осниов-Гай, Орлов-Гай, Курнлово... Этн села далн не только отдельных добровольцев — онн далн готовые красиые полки. Верно, что нз этих же сел немало кулачья ушло и к белым; но остается иесомнениым, что перевес всегда был на красной стороне. Когда в Курнлово ворвалась в 1918 году казара и по указанню местиых кулаков начала выхва-

тывать советских работников, поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон и тогда же порешила создать свой особый полк; он был назван Куриловским. Примерно в подобной же обстановке созданы были и другие местные полки: Домашкинский, Пугачевский, Стеньки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они создавались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные села; бойцами и командирами (комиссаров первоначально не было) являлись всё свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная: тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения — в Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись: один убегал с белыми, другой вступал красноармейцем в родной полк; бывали случаи и еще более разительные — когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины: одна к белым, другая к красным.

Все эти местные полки, созданные для обороны своих сел, скоро вынуждены были ходом событий оставить родные места, уйти глубоко в уральские степи, оттуда на Колчака, от Колчака — снова в степи, из степей — на панский польский фронт.

В ряду других заслуженным, геройским полком считался Мусульманский, насчитывавший четырнадцать национальностей; преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатировавшиеся зажиточным тунеядным казачеством, к которому питали неукротимую, жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела: без снарядов, без патронов, скверно и недостаточно вооруженные, раздетые, необутые, они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против советской власти уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца; в отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы: слабая дисциплина, своеобразное понятие о «воле», длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив,

поступавших из центра,— все эти признаки еще долго-долго отличали от полков Центральной России эти молодецкие добровольческие, сплошь крестьянские полки.

Александров-Гай мало чем отличается от других «гаев» — Орлова-Гая, Осинова-Гая, да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое; село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров-Гай был из ряду вон оживленным пунктом: здесь стояли штаб бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Бай-Турган и Порт-Артур, на Уральск — во все стороны шло оживленное движение, поддерживалась связь то с воинскими частями, то с руководящими центрами; непрестанно двигались повозки, уезжали и приезжали новые люди, куда-то спешили непоседливые кавалеристы, проползали на крестьянских подводах и качались на гордых верблюдах целые воинские караваны, увозили, привозили, разгружали, нагружали — всюду била жизнь; так она, верно, ни до того, ни после не била в Александровом-Гаю...

...К началу марта позиции находились около Порт-Артура — крошечного и вдребезги разбитого поселка, стоявшего на дороге к станице Сломихинской (от Алгая на несколько десятков верст); через эту станицу можно было выйти к большому пути Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Армия, центр которой был в Уральске, предполагала на ближайшее время открыть общее наступление и путем комбинированных действий отогнать сначала казаков от Уральска возможно дальше, а потом и вовсе уничтожить казацкую армию. Со стороны Александрова-Гая удар должен был направиться на станицу Сломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чижинские болота, выходя на большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим маневром перерезался путь казачьим частям, отступающим под натиском красных войск, со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью.

IV. ЧАПАЕВ

Послезавтра — наступление. Отчего же нет до сих пор Чапаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на Казачью Таловку, к Порт-Артуру, последние части: до момента наступления они будут в исходных пунктах.

В штабе назначено последнее заседание — окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Поведено оно будет одновременно с трех пунктов; рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом — пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось, но сам в обсуждение и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему «спецу» и думал: «А этот — неужто предатель? И неужели весь этот пафос — одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату?

А назавтра, лишь только все будет готово, не уж то обернутся они из друзей врагами?»

И особенно пристально, с притихшим дыханием всматривался он в лицо полковника, командира бригады: «Неужели?»

Но лицо у комбрига было из тех, что не внушают опасений,— сразу к себе располагает, заставляет верить.

«А все-таки ты, комиссар, будь начеку!»

Заседание совета окончено. Все уходили из штаба. Весь этот день и целый вечер один за другим транспорт за транспортом, караван за караваном уходили на Казачью Таловку. Пустел Александров-Гай. Назавтра уйдут последние: он остается осиротелый и беззащитный.

* * *

Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.

— Здравствуйте! Я — Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезал от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

— Клычков. Давно приехали?

— Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью, на фронте, шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли.

«Обыкновеннный человек, сухощавый, среднего роста, видимо небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые, быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке,

на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева.

Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. Скоро шумною ватагою ввалились приехавшие с ним ребята: закидали все углы вещами; на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же, среди жухлых шапок н рукавиц. Загорелые, суровые, мужественные лица; грубые, густые волосы; угловатые, неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У нных манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто онн все время бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашнвают, так же резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком... От разговоров и споров загудел весь дом; прнехавшие живо и всюду «распространились».

Через две мннуты Федор видел, как один из гостей развалился у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене, закурил н пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постелн. Другой привалнлся к «туалетному», слабенькому столу, н тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то овчнннным грязным и воиючим тулупом накрыл лежавшнй на столе хлеб, и когда его сталн потом есть, воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнаты крепкий, здоровенный, шумлнвый разговор. Он не умолкал нн на минуту, но н ие разрастался, гудел-гудел все с той же снлой, как вначале: то была нормальная, обычная речь этнх свежнх степных людей. Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто подчиненный! Даже намеков нет: обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет никакой видимой привязанности одного к другому нли предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайшнх случаях,— нет ничего. А в то же время видите н чувствуете, что это одна и крепко

свитая пачка людей, только перевита она другими узами, только отчеканилась она в своеобразную форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лишений и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка,— вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.

Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он не выглядел столь примитивным, не держался так, как все: словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему было тоже несколько особенное,— знаете, как вот по стеклу ползает муха. Все ползает, все ползает смело, наскакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся, и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу и в испуге — чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются меж собой — полная непринужденность; могут и ляпнуть, что на ум взбредет, и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапогом, плеснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев — этих вольностей с ним уж нет. Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения; хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.

Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при Чапаеве ни держались, как бы ни шумели, ни ругались: лишь соприкоснутся — картина меняется вмиг. Так любили и так уважали.

— Петька, в комендантскую! — скомандовал Чапаев.

И сразу отделился и молча побежал Петька: маленький, худенький черномазик, числившийся «для особенных поручений».

— Я через два часа еду — лошади штобы враз готовы! Верховых вперед отошлешь, нам с Поповым санки, живо! Ты, Попов, со мной!

И властно кивнул головой Чапаев желтолицему сутулому парню. Парню было годов тридцать пять. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний кряк. При могутной, коренастой фигурище были странны мягкие, словно девичьи, движенья.

Попов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева, враз остыл, стушил, как свечи, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и

серьезно Чапаеву в глаза ответным глядом н глазами ему сказал:

«Слышу!»

Тогда Чапаев скомандовал дальше:

— Кроме — никого! Комиссар вот еще поедет да конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру! Слушай...— огляиулся Чапаев кругом и увидел, что нет, кого искал.— Да... услал же его... Ну ты, Кочнев, идн, посмотрн в штабе. Если все собрались, скажешь.

Кочнев вышел. Он показался Федору гимнастом — такой быстрый, легкий, гибкий, жнлистый. Короткая телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапчонка иа затылке, иа иогах штиблеты, до колен обмотки. Годов ему меньше трндцати, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий н влажный; он им шмыгает и как-то все плутовски его иабок искривляет. Зубы белые, волчьи, здоровеннейшие; когда смеется, хищно оскалнвает, будто собираясь нзгрызть в лоскутья.

Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжимн бровями, пышнымн багровымн усами, крокодильей пастью, монгольскимн скулами; как пнявка, налитая кровью, отвнсла нижняя губа, квадратом выпер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне,— потный и рыхлый иос. Под рыжими рогожками бровей, как угли,— Чековы глаза. Широка и крута у Чекова грудь, тяжелого веса лапы-лопаты. Чекову сорок лет с пустяком.

Возился с чайниками, резал хлеб, острил впропалую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал Теткин Илья, заслуженный красногвардеец, маляр по профессни, добродушный, звонкий, всеми любнмый, охотник до песеи, до игры, до забавы. Годами чуть постарше Петьки: двадцать шесть — двадцать восемь.

Рядом стоит и ждет терпеливо, молча хлеба от Теткина Внхорь, лихой кавалерист, горячий командир коиных разведчиков, на левой руке без мизинца. Это обстоятельство — мишень для острот.

— Вихорь, ткни его мизинцем, беспалого!

— А мизинчик покажешь — цигарку дам...

Вихоря трудно возмутить: от природы таков — всегда так, и в бою таков. Много молча может сделать человек!

Больше всех толкался, крепче всех бранился и шумел Шмарин — в дубленой поддевке, в валенках (все зябнет, больной), с хриплым, как у Попова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, изо всех самый старший: ему под пятьдесят.

Кучер Аверька, парнишка,— тут же со всеми: оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо у Аверьки багровое, нос — что луковица, глаза с мороза осоловелые, губы обветренные, в трещинах, на шее намотан платок,— с ним и спит.

Из вестовых постоянный и любимый — Лексей, давний знакомый Чапаеву, дотошный, изворотливый парень. Когда что надо достать, посылается Лексей: все добудет, все приготовит и принесет. Перекусить ли надо, чеку на повозку али ремешок к седлу, лекарства домашнего раздобыть — никого не посылают, кроме Лексея: самый ловкий кругом человек.

И что за народец собрался! Как только лицо, так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму. У каждого свое. Нет двоих, чтоб одно: парень к парню, как камень к камню. А вместе все — перевитое и свитое молодецкое гнездо. Одна семья! Да какая семья!

Вошел Кочнев.

— Командир бригады в штабе, можно идти...

Зашумело легкое шевеленье — любопытство осветило не одну пару на Чапаева устремленных глаз.

— Идем!

И Чапаев мотнул головой Попову, ткнул пальцем Шмарину и Вихорю. Зазвенели шпорами, грузно застучали обитыми в подковы каблуками, вышли. Федор вместе с ними. Федору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивал со своею «свитой». Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска, и он вспомнил, как рассказывали про Чапаева, будто в 1918 году, во время боя, когда он был с войсками окружен, а некий комиссар порастерялся, отхлестал его Чапаев нагайкой на возу... Вспомнил — затревожило скверное чувство. Знал, что могли все это и выдумать, могли и преувеличить, поразукрасить, но отчего ж и не поверить: тогда и времена были не те, и сам Чапаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий. Федор шел сзади, и уже одно то, что шел он сзади, было неприятно.

С командиром бригады Чапаев поздоровался наскоро, отрывисто, глядя в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом подвытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. О Чапаеве был он очень наслышан, только больше все со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае — знал про Чапаева-чудака, а дельных дел за ним не слыхал, степным летучкам про геройство чапаевское не верил.

Изо всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей «домашние», когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышался о Чапаеве страхов разных не только один комбриг. В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет?.. Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступления. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

— Циркуль.

Ему дали плохонький, оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал — не нравится.

— Вихорь, поди у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклевывать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах.

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развертывались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.

Чапаев шел в наступление!

Когда окончил вымеривать, указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано

выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно, иной раз смеясь тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное... По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихорю, то к Попову, то к Шмариину:

— А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет говорю?

Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присутствии, да и мало что можно было им добавить — так подробно и точно все было у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили: «Чапаеву всегда не мешай. Ему вот так: ум хорошо, а два хуже».

Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бранится, клянет себя. И не забыть еще ребятам одного «совещания», когда они в горячке наговорили бог знает что. Чапаев слушал, долго слушал и даже все поддакивал:

— Так, так... Да... Хорошо... Вот-вот-вот... Оч-чень хорошо...

Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили:

— Ну, ладно,— говорит,— вот што надо делать: на все, што болтали, плюнуть и забыть. Никуда не годится. Теперь слушайте, што стану я приказывать!

И зачал...

Да так зачал, что вовсе по-другому дело повернул — и похожего не осталось нисколечко из того, про что так долго совещались.

На совещании том были все трое — помнили его, и теперь уж лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя: «Иной раз и совет, может, следует подать, это верно, а то — и словом одним беды натворишь!»

Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор: онто не цепко еще разбирался в военных вопросах и койкакие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял,— это уж потом, через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью, а теперь чего же со «шляпы гражданской» было и спрашивать.

Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засматривал глубокомысленно по карте и на чертеж, то схмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный. Со стороны можно было подумать, что он тут всем равноценный собеседник. Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать вначале разговоров чисто военных, чтоб не показаться окончательным профаном; повести с ним политические беседы, где Федор будет бесспорно сильнее; вызвать его на откровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... потом зарекомендовать себя храбрым воином — это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом пролетит, никакая тут политика, наука, личные качества не помогут!

Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и Чапаев пораскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока — пока держаться осторожно! Не была бы предупредительность и внимательность понята и принята за подслуживание к «герою». (Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно.) Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора, может быть чему-нибудь у него учиться,— лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору — ни-ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке, интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебрежением.

Все эти приготовления Клычкова отнюдь не были пустяками — они помогли ему самым простым, коротким и верным путем войти в среду, с которою начинал он работать, а во имя этой работы — срастись с нею органически. Он не знал еще, г д е будут границы «срастания», но отлично понимал, что Чапаев и чапаевцы, вся эта полупартизанская масса и образ ее действий,— такое сложное явление,

к которому зажмурившись подходить не годится. Наряду с положительными тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и неослабно.

Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?

Федор, еще работая в тылу, слыхал, конечно, и читал многократно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался, видел, что большинство их из крестьянства и очень мало — из рядов городских рабочих. Герои-рабочие всегда были в ином стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда несколько косо посматривал на полуанархические партизанские затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться, восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда оставалась у него опаска. Так и теперь.

«Чапаев — герой,— рассуждал Федор с собою.— Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара. Да не какого-нибудь прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...

Рабочие — там другое дело: они не уйдут никогда, ни при какой обстановке, то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками. Но там — там сразу увидишь, с кем имеешь дело.

А в этой вот чапаевской партизанской удали — ой, как много в ней опасного!»

При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Федора желание самым тонким способом установить свои отношения с новой средой,—

с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а наоборот, взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя,— с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание...

Петька — так почти все по привычке звали Исаева — высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Попова и сунул ему записку. Там значилось:

«Лошыди и вся готовыя дылажи Василей Иванычу».

Петька знал, что в некоторые места и при некоторой обстановке вваливаться ему нельзя, и тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приемом дел отняла немного времени.

— Я командовать приехал,— заявил Чапаев,— а не с бумажонками возиться. Для них писаря есть.

— Василь Иваныч,— шепнул ему Попов,— вижу, ты кончил. Все готово, ехать можно.

— Готово? Едем! — Поднялся Чапаев быстро со стула.

Все расступились, и он вышел первый — так же, как первым вошел сюда.

На воле, у крыльца, собралась толпа красноармейцев — услыхали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году, многие знали лично, а слыхали, конечно, все до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей.

— Да здравствует Чапаев! — гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошел с лестницы.

— Ура-а-а! Ура-а-а!..

Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла.

— Товарищи! — обратился Чапаев.

Вмиг все смолкло.

— Мне некогда сейчас говорить — еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь — прощайте!

Снова раскатилось «ура». Чапаев уселся в санки; за ним поместился Попов. Трое конных ждали тут же. Федору подвели вороного шустрого жеребца.

— Айда! — крикнул Чапаев.

Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так шпалерами и ехали до самой окраины Алгая.

Степная снежная пустыня однообразна и скучна. В прошедшие теплые дни бугорки оплешивились было до самой земли, а теперь и их занесло; всю степь позавеяло, схрустнуло морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к другому — можно подумать, переругались,— обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четырех шагах за повозкой поспевают всадники, ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянии, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит в карьер. И любо скакать по степи, благо конь так легок, охоч на скок.

«Завтрашним днем,— думал он, едучи зыбкой рысью,— открывается полоса боевой, настоящей жизни... И завертит-покатится она — надолго ли? Кто может знать судьбу ее? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днем, день за днем в походах проскачут, в боях, в опасностях, в тревоге... Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные палестины, кто останется здесь, по черным логовам, по снежным пустырям степей?»

И полезли в голову житейские воспоминанья, встали милые, знакомые лица... И сам себе представлялся убитым: лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным виском. Даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь — стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный.

Так прошло часа два с половиной. Чапаю, видимо, надоело сидеть недвижно — остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.

— Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?

— Вместе,— ответил Федор и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным.

«Тряхнуть покрепче — и вот полечу,— подумалось ему.— Вот Чапаев, глянь-ка, этот уж нипочем не выскочит».

— Вы давно воевать-то начали?

И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония. «Знает, дескать, что на фронте я только-только, ну и подшучивает».

— Теперь вот начинаю...

— А то по тылам были? — опять спросил Чапаев.

И опять вопрос язвительный.

Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву,— это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.

— По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали...— с деланной небрежностью обронил Федор.

— Это за Москвой?

— За Москвой, верст триста будет.

— Ну, што там, как дела-то идут?

Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью, и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.

— Выходит, плохо живут,— согласился серьезно Чапаев.— А все из-за голоду. Кабы голоду не было — на-ка: да тут все и дело по-другому пошло б... А жрут-то как, не думают небось о том...

— Кто жрет? — не понял Федор.

— Казачьё... Ништо ему нипочем.

— Ну, не все же казачество такое.

— Все! — вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там... д-да!

Чапаев нервно забулькал в седле.

— Не может быть все...— протестовал Федор.— Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постойте-ка,— вспомнил он с радостным волненьем,— хоть бы и у нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

— В бригаде? — чуть задумался Чапаев.

— Да-да, у нас, в бригаде!

— А это, надо быть, городские... Здешние вряд ли,— с трудом поддавался на доводы Чапай.

— Я уж не знаю, городские ли, но факт налнцо... Да н не может быть, товарнщ Чапаев, чтобы казачество ну в с е было против нас. По существу-то дела этого не может быть.

— Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...

— Нет, сколько бы нн был я, все равно: не поверю!

Голос у Федора был крепок н строг.

— Про отдельных чего говорнть,— стал слегка сдаваться Чапаев.— Конечно дело, попадают, да мало...

— Нет, не отдельные... Вы это напрасно. Вон пишут нз Туркестана — на целую там область казацкне полки установилн Советскую власть... А на Укранне, на Дону... Да мало лн?

— Надейтесь, онн вот покажут...

— Ну чего же надеяться, я не надеюсь,— пояснял Чапаю Клычков,— н в вашем мнении правды много. Это верно, что казачество — вороньё черное, верно. Кто ж протнв того? Царская власть на то о ннх н заботилась. Но вы посмотрите на казацкую молодежь — эта уж не старикам чета. Из молодежи-то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело, труднее мириться с Советской властью. Во всяком случае, теперь трудно, пока не понял он ее... Ведь думают черт знает что про нас н всему-то верят: церкви, говорят, в хлевы коровьи превращаем, жены у нас у всех общне, жнть загоняем всех вместе, пить н есть — вместе за один стол непременно... Где же тут помириться казаку, еслн он из рода в род прнвык н к церкви и к своему сытому, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной, своевольной жизни?

— Иксплататоры,— выговорил с трудом Чапаев.

— Именно,— сдержал Федор улыбку.— В эксплуатацнн-то вся суть дела н есть. Богатые казаки эксплуатнруют не только ведь иногородннх нлн киргизов,— онн и своим братом-казаком не побрезгуют. Тут вот разлад-то н происходнт. Только старнкн, хоть они н обнженные, помнрились с этнм, счнтают, что сам бог так устроил, а молодежь —эта проще, посмелее на дело смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Старнков — этих не своротишь, этих только оружием н можно пронять.

— Оружнем-то оружием,— встряхнул головою Чапаев,— да воевать трудно, а то бы што...

Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разуметь что-то надо особое под этими словами. Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьет свою мысль.

— Центры наши, вот што...— бросил неопределенно Чапаев еще одну заманчивую, темную фразу.

— Какие центры?

— Да вот, напихали там всякую дрянь,— бормотал Чапаев, будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал.— Он меня прежде под ружьем на морозе целыми сутками держал, а тут пожалуйте... Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, можете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками дерутся...

Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — о штабах, о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение,— вопрос, в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву и не только Чапаевым...

— Без генералов не обойдешься,— буркнул ему успокоительно Клычков,— без генералов что же за война?

— Как есть обойдемся...

Чапаев крепко смял повода.

— Не обойдемся, товарищ Чапаев. Удалью одной большого дела не сделаешь — знания нужны, а где они у нас? Кто их, знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они и нас должны учить... Будет время свои у нас учителя будут, но пока же нет их. Нет или есть? То-то! А раз нет, у других учиться надо!

— Учиться? Д-да! А чему они-то научат? Чему? горячо возразил Чапаев.— Вы умаете, скажут, что делать надо? Поди-ка, сказали! Был я и сам в академии у них, два месяца болтался, а потом плюнул да опять сюда. Делать нечего там нашему брату... Один Печкин вот, профессор есть, гладкий, как колено,— на экзамене:

«Знаешь,— говорит,— Рейн-реку?»

А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?

«Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты,— говорю, знаешь Солянку-реку?»

Он вытаращил глаза — не ждал этого, да.

«Нет,— говорит,— не знаю, а што?»

«Значит, и спрашивать нечего. А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... Што мне твой-то Рейн? А на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому што с казаками мы воюем тут!»

Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и подумал:

«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенческие мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо».

— Мало побыли в академии-то,— сказал Федор.— В два месяца всего не усвоишь. Трудно это.

— Хоть бы и совсем там не бывать,— махнул рукой Чапаев.— Меня учить нечему, я и сам все знаю...

— Нет, оно как же не учиться,— возразил Федор.— Учиться всегда есть чему.

— Да, есть, только не там,— подхватил возбужденный Чапай.— Я знаю, што есть... и буду учиться... Я скажу вам... Как фамилия-то ваша?

— Клычков.

— Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим. Да вон, надо быть, и Таловку-то видно...

Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали Попова. Через десять минут съезжали в Казачью Таловку.

V. СЛОМИХИНСКИЙ БОЙ

Казачья Таловка — это крошечный, дотла сожженный поселок, где уцелели три смуглые мазанки да неуклюже и долговязо торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами — они прибились здесь в ожидании похода.

Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших разговору.

Уж набухли степными туманами сумерки; в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизкое чайное блюдце, сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступления. Чапаев сидел посредине лавки. Обе руки положены на стол: в одной — циркуль, в другой — отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые

бойцы примкнули кольцом — то облокотились, то склонились, перегнулись над столом,— все всматривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломаным шагом — маленьким белым циркулем. Федор и Попов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу сказать, никакого совещанья и не было — Чапаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить.

Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные указания и советы. В серьезной тишине только и слышно было чапаевский властный голос да свисты да хрипы спящих бойцов. Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед грязной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спросонья — не мог ничего сообразить.

— Тише ты, брюква! — погрозили парню сердито.

— Ково тише? — И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.

Парня привели в себя, два тумака в спину; он поднялся, протер глаза, узнал, что тут Чапаев, и сам, приподнявшись кротко на носки, до самого конца вслушивался внимательно в его речь, может и не понимая даже того, что говорит командир.

Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы. Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.

Чапаев продолжал поучение:

— ...если не сразу — не выйдет тут ничего: непременно враз! Как наскочил — тут ему некуда шагу подать... Всех отсюда спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до зари надо быть. Штобы в темноте, когда и свету нет настоящего, понятно?

Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:

— Поняли... Конешно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...

— Приказ у вас на руках,— продолжал Чапаев,— там у меня часы все указаны, где становиться, когда подыматься в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не ходи лучше... Я указал только часы да места, на этом одном не победишь — самому все надо доделать... И первое дело — осторожность: никто не дол-

жен узнать, што пошли в наступленье, ни-ни... Узнают пропало дело. Коли попал на дороге казак али киргиз, да и мужик, все одно,— задержать, не пущать: потом разберем.

— Есть таковые,— молвил кто-то из угла.

— Есть, и держи,— подхватил Чапаев весело.— Ты на него, на казака-то, оглядывайся со всех сторон. Знаешь, какой он есть: выскочит враг с-под стола... Он тута дома, все дорожки, овраги все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком. Будешь сусолить, он тебя сам в жилу вытянет.

— Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной...

Деловая часть беседы кончена.

Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахару — шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным чугунным сном, попросыпались недоуменные: кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью — как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток минут отодвинули столик на середку, а вкруг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, приникли на полу. Церковная желтая свечушка поблескивала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да восковые пятна вместо лиц.

Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар — так что ж из того?! В военном деле он указать пока ничего не мог; политикой тут не время пока заниматься — откуда же его и заметить? «Будет время, сойдемся,— подумал он про себя,— а теперь можно и в тени постоять».

Он даже одиноким себя почувствовал средь этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них — вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок,— и он тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова. А как они все чтили своего Чапая! Лишь только обратится к которому — обалдеет человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли похвалой подарит

малой — хваленый ее никогда не забудет. Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быль сдобряя чудесной небылицей.

Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. Слушал.

Запел сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было немного — всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его товарищи: видно, часто певали. Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежли перекричит, охрипнет и дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев, и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обстановка, что ему измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда,— непременно выкроит хоть десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать — не сыскать: ему песни были, как хлеб, как вода. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную, не отставали от Чапая.

Ты, моряк, красив собою.
Тебе от роду, двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?

Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бессодержательная. И любил ее Чапаев больше за припев — он так паялся хорошо с этой партизанной, кочевою, беспокойной жизнью:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, в завтра там!
Эх, по морям-морям-морям,
Нынче здесь, а завтра там!

Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу, неистово ржал над степями. Потом про Стеньку любили, про Чуркина-атамана и о том, как

Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...

Тут пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись, кто где словчился,— уснули.

Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться, чуть станет светать. Наступали с трех сторон, полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре, ударял на самую станицу; два других с флангов огибали полукруг.

Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отправить вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно, и нет нигде мрачнеющих знаков близкого боя.

Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло,— нет, не уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветру, что гудит неуемно в груди в эту первую ночь перед первым боем.

Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешеченные пулями сквозь,— им что! И ничего для них тут нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких ночей отхрапели немало, эти ночи неотличимы для них от других тихих ночей. Но у каждого, непременно у каждого, была здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь»! И тогда он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных противоречий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств.

Не спалось. И не только не спалось — тяжело было необъяснимой, небывалой тяжестью. Посмотрит кругом — при мертвенном взблеске церковного огарка видно, как разбросались, скорчились, перевились на полу бойцы в общей куче, без разбору.

«Так же вот на поле битвы, верно, валяются трупы, в беспорядке, в агонией скрученных позах, то грудками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулеметами бойцов».

В полумраке и лица казались бледней и безжизненней, и храпы, то срываясь залпами, то раскатываясь протяжными свистами и вздохами, напоминали стоны...

Федор вышел из халупы — чувствовал, что не заснуть. Не лучше ли на ядреный воздух морозной ночи? А ночь тихая, черная, степная. Высоко в небе — зеленые звезды. Ветер легкий и вольный, какой бывает только в степи.

Среди развалин сожженной станицы, под открытым небом, расположился полк. Кое-где у догоравших костров можно было рассмотреть склоненные фигуры одинаково сидевших бойцов: то дежурные, то, как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей, не знающие, как перед боем скоротать ненасытное время. Они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи,— дров в степи не достать,— озабоченно шевелили уголья, чтоб не стух костер, не остаться бы в черной, глухущей тьме. Там, где сомкнулись трое-четверо вокруг костра, идет возня с котелками — там варят похлебку и чай, пропадает дальним громом рокочущий хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предпоходные часы.

А ночь темнущая-темная. И строгая. Оползла кругом, опаясалась страхами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов,— они только жутче заострили молчание степи.

В степи, у развалин, будто приведения, ворочались плавно и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую, дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры и так же внезапно, быстро исчезали в черную бездну ночи. Во всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя.

Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в ожидании утреннего боя, все они, эти ночи, похожи одна на другую своею строгою серьезностью, своим углубленным и сумрачным величием. В такую ночь пройдешь по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданьях, об этих вот искупительных жертвах, что недвижными трупами остаются безвестные на полях гражданской войны.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зверковые

ямки, иарытые вспешку крошечиым заступом или просто отцарапаиные мерзлыми пальцами рук... И миогих ие стаиет, навеки не станет: оии, безмолвиые и недвижные, остаиутся лежать на пустыииом поле... Каждый из иих, оставшихся в поле на расклев вороиью,— такой малеиький и одииокий, так иезаметио пришедший иа фроит и так бесследио ушедший из боевых рядов,— каждый из иих отдал все, что имел, и без остатка и молча, без барабаииого боя, иикем ие узианный, иикем ие прославлеииый, выпал ои иеприметио, словно крошечный виитик из огнедышащего стального чудовища...»

Федор увидел, как здоровенный кудрявый пареиь склоиился иад огнем, возится с картошкой, перевертывает, прокалывает ее иа холодеющих угольях костра... Ои иетиет да и суиет в пепел штык, выхватит оттуда произеииую картошку, пощупает пальцем, робко к губам ее поднесет — из огня-то! И живо отплюиет, сошвыриет с острия обратио в пепел: ои весь поглощеи своим иевинным заиятием. Верно, и у иего в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспомииаиий. О чем ои думает так сосредоточеиио, вперившись иеотрывиым взором в потухающий костер? Уж иепремеиио о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фроита и к которой вернулся бы — ах, вериулся бы с какой радостью и охотой! Да мало ли что передумает ои в эту иочь... А вот поутру привезут его, может, сюда же — с оторваниой иогой, с пробитой грудью, с расколотым черепом... И будет страшио хрипеть, медлеиио и иапрасно, с зубовным скрежетом распрямлять перебитые хрусткие члены, будет страшен и дик, весь залитый кровью, весь облеплеииый кровавыми багровыми сгустками... Снимут эту вот, кем-то иежио любимую чериую шапку кудрей, обреют широкую круглую голову и станут копаться в чутком окровавлеииом теле стальиыми иожами и иглами... Бр!..

А сосед, вои этот мужичок, что с рыжей бородой, уж не молод — ему под сорок годов. Тоже ие без думы сидит. И иичего-то, ии словечка едииого ие говорят они друг с другом: оба полны своими особыми думами, у каждого теперь обостреино, учащеиио пульсирует собствеииая, связаииая со всеми и ото всех особеииая жизнь. Не до разговоров — тут речь ие к месту. Он сидит, рыжебородый

мужичок, будто смерз и остыл в недвижной позе: руки скрестил по животу, вобрал под себя охолоделые ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру — и думает. Завтра он так же, быть может, без движения останется лежать на снежной равнине, среди других, как он, трупов, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре... Только в одном, в единственном месте, около виска, выбежит на снег алая кровь... Больше не будет кругом никаких следов.

Эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе — они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взор будет так же неподвижен, как теперь. Мертвый, остывший взор.

Федор живо себе представил эти картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат...

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свой, товарищ...

— Пропуск?

— Затвор.

Часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку, пожал от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.

Федор вернулся в халупу — там неистовый метался храп и свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами, изловчился, протиснулся, изогнулся, лег. Лег — и уснул...

* * *

Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали Порт-Артуром это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.

Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели, обернулся Чапаев к Федору:

— Началось...

— Да...

И снова смолкли и ни слова ие говорили до самого поселка. Пришпорили коией, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем иеобъясиимым, особеиым волиеиьем, которое овладевает всегда при сближеиии с местом боя и иезависимо от того, труслив ты и робок или смел и отважеи; *спокойиых* иет, одиа рыцарская болтовия, будто есть *совершеино спокойиые* в *бою*, *под огием*,— этаких пней в роду человеческом ие имеется. Можио привыкиуть *казаться* спокойиым, можио держаться с достоииством, можио *сдерживать себя* и *ие поддаваться* быстро воздействию виешиих обстоятельств — это вопрос иной. Но *спокойиых* в бою и за миiуты перед боем иет, ие бывает и ие может быть.

И Чапаев, закалеиный боец, и Федор, иовичок,— оба полиы были теперь этим удивительным состояиием. Не страх это и ие ужас смерти, это — высочайшее иапряжеиие всех духовиых струи, крайиее обострение мыслей и торопливость, иевероятная, иепоиятиая торопливость. Куда иадо торопиться, так вот особеиио спешить,— этого не созиаешь и ие понимаешь, ио все порывистые движеиья, все твои слова, обрывочиые и краткие, быстрые, чуткие взгляды — все говорит о том, что весь ты в эти мгновеиья — стихийная торопливость. Федор хотел что-то спросить Чапаева, хотел узиать его мысли, его состояиие, ио увидел серьезиое, почти сердитое выражеиие чапаевского лица — и промолчал.

Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли обозы, иа пепелище сожжеииого поселка сидели кучками обозиики-крестьяие, иаливали из котелков горячий чай и вкусио так, сытио, аппетитио завтракали. Чапаев соскочил с коия, забрался иа уцелевшую высокую стену, сложеииую из кизяка, и в биiокль смотрел в ту стороиу, где рвалась шрапиель. Сумерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли иесколько миiут, и сиова иа коией — поскакали дальше. Навстречу — крестьяиская подвода; в ией что-то лежит, укрытое старенькой, истрепаииой сермягой.

— Што везешь, товарищ?

— А вот солдатика пораиило...

Федор взгляиул в повозку и рассмотрел под сермягой

контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше.

— Тяжелый?

— Тяжелый, батюшка... И голову ему н ногн...

— Перевязан лн?

— Завязалн, как же, весь укрыт.

В это время раненый застонал, медлеиио высунул из-под серого покрывала обнитованную окровавлениую голову, открыл глаза н посмотрел на Федора мутиым, тяжелым взором, словно говорнл:

«Да, браток. Полчаса назад н я был здоров, как ты... Теперь вот — смотрн... Сделал свое дело н ухожу... Изувечен... Уж пусть другне — очередь за ннмн... А я честно шел н... до конца шел. Сам виднshь: везут...».

Обрывкн этих мыслей проскочилн у Федора в голове. И было невыиоснмо тяжело оттого, что это п е р в ы й... Будут другие — ну так что ж? На тех спокойнее будет смотреть — на то и бой. Н о э т о т п е р в ы й — о, как тяжела ты, первая, свежая утрата!

И так же быстро, как этн мысли, промчалнсь другне — ие мыслн, а картннки, недавине, вчерашиие, там, в Казачьей Таловке, у костра... Быть может, ои тоже, как тот, вчера только, да н не вчера, сегодня ночью, сосредоточенно пропекал где-ннбудь у костра полугнилую картошку, напарывал ее на штык н вытаскивал, проверяя горячую, раскалеиную... губамн?

Федор поскакал догонять Чапаева, но тот, видимо, взял стороиой. Оин встретились только в цепи.

И впередн, к фронту, н с позицни тянулнсь повозкн: один со снарядамн, с патронами, пустые — за ранеиымн, другие, иавстречу нм,— только с однмм неизмеииым и страшиым грузом: с окровавлеииымн человеческими телами.

— Далеко иаши? — спроснл Федор.

— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...

Справа, за рекой Узеием, стоят киргизские аулы,— казаков отсюда выбнли огием. Видно через реку, как бродят там взад и вперед дозорные — два красиоармейца. Оин засматривают в лощиикн, проверяют за грудамн камия н кизяка, ие завалился лн где раиеиый товарищ. Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетлнвей рвутся снаряды... Вот уж н цепи чернеют вдалн.

Какие же пять тут верст? Почитай, и двух-то не было. Долга, видно, показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!

Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шел командир полка; они о чем-то серьезно, спокойно говорили.

— Посылал — не воротился,— отвечал на раннй вопрос комполка.

— А еще послать! — рубанул Чапаев.

— И еще посылал — одинаково...

— Опять послать! — настаивал Чапаев.

Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились, как зверь в чаще.

— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.

— И оттуда нет.

— Давно?

— Больше часу.

Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял: речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выяснилось, что бойцы усомнились в своем командире: он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел, и не пошли, надолго задержались, всё галдели да выясняли, пробузили самое горячее время.

Федор шел рядом с Чапаевым; лошадей вели на поводу. Тут же, неслышный, очутился Попов, невдалеке — Теткин Илья, рядом с Теткиным — Чеков. Когда они тут появились, Федор не знал: за суматохой, когда из Таловки выехал с Чапаевым вдвоем, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они в ночи, после песен.

До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступление остановили. Но пурга крутила недолго: через полчаса цепи снова были в движении. Клычков с Чапаевым разъехались по флангам — теперь они были уж в первой цепи. Показался справа хутор Овчинников.

— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указывая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...

На этот раз Чапаев ошибся: гоиимые казаки и ие вздумали цепляться в хуторишке; оии постреляли только для острастки и дали тёку, ие оказав сопротивлеиия.

Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая, широкая равиина, сюда из станицы бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему оии молчат? Это зловещее молчаиие страшиее всякой стрельбы. Не идет ли там хитрое приготовление, ие готовится ли западия? Схватывались лишь иа том берегу Узеия, а здесь — здесь тихо.

Федор ехал впереди цепи, покуривая, и бравировал своим молодечеством.

«Вот, мол, я храбрец какой, смотрите: еду верхом перед цепью и ие боюсь, что снимет казацкая пуля...»

Это выхлестывало в ием ребячье бахвальство, ио в те минуты и оно, может, было иеобходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорио: когда едет коиный перед цепью, оиа чувствует себя весело и бодро,— об этом зиает любой боец, ходивший в цепи. Но возможиа эта лихость, коиечио, только перед боем; когда открылся огоиь и начались перебежки, тут долго ие иагарцуешь.

Чапаев иосился стремглав; ои был озабочеи устаиовкою связи между полками, хлопотал о подвозе сиарядов, справлялся про обозы...

Федор проехал из конца в коиец, воротился к правому флангу, слез с коия и сам пошел в цепи, держа коня иа поводу. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока оиа молчала, шел Федор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к этаким делам: ои разыгрывал чуть ли ие старого ветераиа, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещеиие — что с «граждаиской шляпы» и спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут.

Подпустив сажеией иа триста, казаки ударили орудийиым огием. За артиллерией с окраииних мельииц резиули пулеметы. Федор сразу растерялся, ио и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевериулось, опустилось, охоло-

дело, будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.

Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как нежные. Так, прячась, и он перебежал раза два, а там — вскочил в седло и поскакал... Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел, только о т с ю д а, из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой, страшной опасности. Он поскакал вдоль цепи, но теперь уже не перед нею, а сзади, помчался зачем-то на крайний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везет какое-то очень, очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу.

На пути встретился Попов. Этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, затем же, зачем и Федор скакал на левый. Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь — за делом ли вывернулся человек али страх отшиб ему разум, и вот он тычется без толку, обалделый, в поисках спасенья. Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами:

— Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев, как его найти?

Вопросы были для отвода глаз.

Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что два эти всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников вкруг снарядами — все ближе, ближе, ближе...

Один упал саженях, может, в двадцати пяти, другой — в пятнадцати, третий и того ближе. Ясно было: станица берет на прицел! Снаряды ложились кольцом. Кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях.

— Надо скакать! — шепнул торопливо и слышно Попов.

Лопнул близко новый снаряд.

Федор ничего Попову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл, прочь от цепей...

Попов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра; за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толкался с Поповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудящий вой несшихся снарядов, и лишь только вой этот близился, Федор пластом вмиг приникал к обмерзшему снежному скату. Потом медленно, опасливо подымал голову и, страдая, следил, не гудит ли где мимо и близко новый. Долго ли пролежал он здесь — кто же знает? Да, именно здесь он, верно, и был бы убит шальным снарядом, изувечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но еще прежде того Федор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку, с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохнувшимся шепотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому:

— Где пулеметы? Где тут пулеметы?

— Какие пулеметы?

— Нам пулеметы нужны — с левого фланга казаки лавой идут...

Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг и с холодом в груди несущуюся невдалеке черную массу... Волосы шевельнулись на голове.

— Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он, хлестнув коня, и помчался в обоз.

Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались — чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору, и не до него, может, было мужичкам — смеялись и шутили они, чтобы прошли, ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди неведомо как долго. Стой и жди, с места не трогай до приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертв. Шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз. Это только в смех говорят, будто в обозы трусов сплавляют служить. А ты сам послужи, тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо — обоз! Хорошо солдату в цепи — там у каждого винтовка,

там грудью идут сотни и сотни разом, там у сотен этих свои впереди пулеметы, там пулеметчикам орудия брешут в подмогу. В цепи что?! Там есть о кого толкнуться, к кому пришиться, кругом — подмога в цепи. А ты огляныся на обоз: двести возов, двести мужиков, а на двести на всех... одиннадцать винтовок! Винтовок одиннадцать, а патронов и вовсе мало. Пулемет в запасе стоит, да и тот чннить требуется. К тому же на двести — полторы сотни стрелять толком не умеют. А те, что умеют,— калеки да слабомощные; другому и винтовку в плечо не взять, только и дела может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз! А казак обозы любит: чего ж его не взять пустыми руками! И как налетела сотня — кто ж оборонит, на кого опереться, откуда подмога? Скачут казаки меж возами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат — вышибли разом казаки из рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо: обозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает!

Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно: обозный страх куда будет пострашнее того, что треплет бойца в цепн.

Горела на воре шапка, закатала-замучила Клычкова стыдобушка, не мог он с мужичкамн в смех, в разговор вступить, а уехать тоже — куда теперь? Так и болтался неприкаянным средь обозов часа полтора: спрашивал прикуривать, справлялся про фураж, про колесную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню — дальние, мол, алн ближние? И все это не удавалось, не получалось. Слова были пустые н глупые, никому не нужные. Казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходнлн прочь от него небрежно и оскорбительно. Как ядовитые черви, медленно и копотливо проползали минуты; они истерзали, изъязвили, изрешетили Федору сердце, будто мстили за трусость, за позор.

Орудия ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свнсте и в реве шли веселые цепи, ободранные огнем.

В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья летевшей по ветру,— нз конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там

появлялась вдруг н быстро нсчезала его худенькая фигура, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал прнказания, сообщал необходнмое, задавал вопросы. И командиры, так хорошо знавшне своего Чапая, кратко, быстро сообщалн нужные сведення — ни слова лишнего, нн мгновенья задержки.

— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.

— Целы! — крнчал ему кто-то нз цепей.

— Сколько повозок снарядных?

— Шесть...

— Где командир?

— На левом...

Он мчал на левый фланг.

Цепи кидались стремнтельным боем. В тот же миг срывалнсь с цепей казачьн пулеметы. Цепи падалн ниц, впивались в снежную коросту — лежалн замертво, ждалн новую команду.

Позадн цепей носился Чапаев, кратко, быстро н властно отдавал приказания, ловил ответы.

Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батарен:

— Бить по мельницам!

— Все пулеметы с мельниц скоснть!

— Станицу не трогать, пока не скажу!

И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче н злей заговорилн орудия. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли н вдруг разорвались, как лаем, сухим, колючим треском: былн спущены все пулеметы враз. Обе стороны крепилн огонь. Но с каждой минутой блнже н ближе красноармейцы, все точней падают, рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу...

Возбужденный, с горящими глазами, мечется Чапаев из конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам, н видят бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал.

— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.

— На левом...

— Миого?
— Так точио...
— Пулеметы иа месте?
— Все в порядке... Послали за подмогой...
И он скачет туда, на левый фланг, где грозио сдвинулась опасиость. Казаки иесутся лавой... Уж близко видно скачущих коией... Подлетел Чапай к комаидиру батальоиа:
— Ни с места! Всем в цепи!.. Залпом огоиь!
— Так точио...
И он проиесся по рядам припавших к земле бойцов.
— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... Подпустить — и огоиь по комаиде... Всем на месте... Огонь по комаиде!!!
Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с иими. И верят, что ие будет беды...
Как только лава домчалась иа выстрел, ударил залп, за ним другой... кииулась иервная пулеметная дрожь.
Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменио пулеметы.
Ах...ххх! Ах...ххх! Ах...ххх! — вторили четкие, резкие, дружные залпы.
Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгиовенье.
Ахх! Ахх! — срывались сухие залпы. Еще миг — и лава ие движется... Еще миг — и кони мордами повериули вспять. Казаки мчатся обратио, а им вдогонку:
Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!.. Тра-та-та!.. Аххх!.. Аххх!
Сбита атака. Уж бойцы от земли подымают белые головы. У иных иа лицах, ие остывших и тревожиых, чуть играет пугаиая улыбка... Цепи идут под самой стаиицей. Чаще, чаще, чаще перебежки... Пулеметный казацкий огоиь визгом шарахает по цепи. И лишь она вскочит, цепь, бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волиующая рябь пулеметиой суеты... Уж бойцы забежали за первые мельиицы, кучками спрятались где за буграми, где у забора, всё глубже, глубже, глубже — в станицу... И вдруг взорвалось иежданиое:
— Товарищи! Ура... ура... ура!!!
Цепь передериулась, вздрогиула, виитовки схвачеиы иаперевес — это порывистой легкой скачью иеслись в последнюю атаку...

Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте пулеметчики. По станице шумные волны красноармейцев. Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники...

Красная Армия вступала в станицу Сломихинскую...

Жалкий и смущенный, выезжал Федор Клычков из своего позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там делается, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь и вовсе стала.

«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем, может быть и иное: наши были окружо́ны, побились-побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами. И вместе с обозом возьмут его, комиссара». О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль?

Совершенно уничтоженный сознанием своего преступленья, он чуть рысил в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами,— там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников.

За бугорком — ровная долина; здесь и шла наша цепь. Но где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу Узеня? Может быть, туда загнали ее казаки? Через станицу ли сквозь прогнали?

Он терялся в догадках, в предположениях.

В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молотил что-то вздорно и бессвязно. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одною болезнью.

— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.

— А вот сам ищу,— брезгливо ответил Федор и застыдился.

Они друг друга поняли до самого позорного днища.

— Может, в стаиице уж оии? — деланно зевая и с притвориой безмятежиостью спросил незиакомец.

— Может быть,— согласился Федор.

— Ну так што же, едем, што ли?

— Куда?

— В стаиицу-то.

— А как там казаки?

— Едва ли... Верио, вошли... А впрочем...

— То и дело-то... попадешься — ие помилуют!

В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз оди другого отговаривали, предостерегали, указывали иа иеобходимость как-иибудь исподволь узиать, осторожио: кто заиимает теперь стаиицу.

За разговором всё плыли и плыли вперед, ие заметили, что были всего в полуверсте, что с мельииц их давио и отлично видать, что деться все равно иикуда иельзя и даже в случае преследоваиия едва ли имеется смысл удирать: пулеметы с мельииц достаиут вослед!

Так ехали и дрожали от иеизвестиости, дрожали и ехали дальше.

Совсем иеподалеку от крайиих халуп увидели мальчугаиа годов десяти.

— Малец, эй, малец, вошла тут Красиая Армия али иет?

— Вошла! — прозвеиел мальчишка весело.— А вы откуда приехали?

— Беги, беги, мальчуган, гуляй! Про воеииые дела рассказывать иельзя,— урезоиил отечески Федор его баловливое и неуместиое любопытство.

Спутник, лишь только услышал, что опасиости нет, куда-то иечаяиио и вмиг пропал. Клычков, спокойный, ио все такой же прииижеиный и смущеиный, въезжал теперь в стаиицу, заиятую красиыми полками. Ои все успокаивал себя мыслью, что со всеми иовичками, верио, то же бывает в первом бою, что ои себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою ои будет уж ие тот...

И ие ошибся Федор: через год за одиу из славиейших операций ои иагражден был ордеиом Красиого Зиамеии. Первый бой для иего был суровым, зиачительиым уроком. Того, что случилось под Сломихиской, иикогда больше ие случалось с иим за годы граждаиской войиы. А бывали ведь положения во много раз посложнее и потрудиее

сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу — надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трудности до того состояния, которое отмечают как достойное.

* * *

Расспрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь,— вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали, и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причина возбуждения не в этом — не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же?

Он подъехал незаметно к штабу — к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все: Чапаев, его ребята, Ежиков. Особенно запомнился Федору Ежиков. Он, видимо, понял, в чем дело, и встретил гуляку чуть сдержанной улыбкой:

— Тылы подтягивали... товарищ... Клычков? — А глаза золотистые и смеются-смеются — насмехаются.

— Да... позадержался там...— неловко пробурчал Федор и обратился к Чапаеву: — Армию известили?

— Сейчас вот собираемся. Из Уральска вести добрые — там двинули вперед, дорогу ко Лбищенску чистят...

— То-то бы дело... А нам тут как, относительно Сахарной-то?

Спросил и смутился: слова показались излишней болтовней, как и сам себе казался он здесь почти что лишним...

«Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка,— через два часа пожаловал!»

Угрызения совести шерстили сердце, полымянной му́кой кидались в лицо.

Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в

штаб. В окно было видно, что их не пустят,— невозмутимый усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело, узнал, что они жаловались на новых своих гостей, красноармейцев, которые-де растаскивают имущество. Федор немедленно отправился с ними на место, расспросил, осмотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее.

Федор наткнулся на целый ряд грабежей, вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идет, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом.

— Что у тебя? Покажи.

Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу, развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пеленки, игрушки разные, тряпки, платьица...

— На что это тебе, дружина?

Молчит. Сам видит, что ни к чему.

— Зачем брал-то, спрашиваю?

— А мы все кому што: взял и понес.

— Зачем же все-таки?

— Почем я знаю?

— А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть...

— Может, оно... Пущай берет,— согласился парень без жалости.

— Не «берет», а отнести надо,— внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков.

— И отнести можно,— согласился тот.— Конешно, отнести — чего ей, бабе, барахтаться? Ты укажи, я сам снесу.

Федор узнал, где тот хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принес, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча.

Федор встретил другого. Этот голову всунул в плетеную детскую колясочку — может, в печку тащил, а может, и просто позабавиться. Бывало и это — по-разному забавлялись.

Сгребут, бывало, здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого Михрютку, у которого сапожищи потяжелее да грязи на них в аршин, у которого в ляжках

три пуда да полпуда в льняных кудрях,— сгребут и волокут его к такой вот что ни на есть ангельской колясочке. Визжит-брыкается Михрютка, страстным воем пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне али в городе — игра везде одинаковая. Как ни визжи, а забава состоится: в подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки веревкой заплетут, а потом выбирают, где горка покруче, да с горки его... на колесиках... кувырком!

Ха-ха-ха! То-то забава молодецкая!

И тут результат был один: колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом...

Многое разыскали, многое возвратили; станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались, жестким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдется из украденного. Что будет отобрано, все сносить в определенные места, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но... только бедноту: ни одному «буржую» чтобы не было отдано ломаного гроша. Это имущество пойдет в полковые кассы, которые создать надо теперь же, немедленно! Тех, кто сами снесут вещи, не трогать, не арестовывать... Кроме этого всего, собрать через два часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить «сам Чапаев»,— так и наказал передать: «Сам Чапаев говорить, мол, будет!»

Два часа спустя Петька Исаев докладывал Чапаеву, что собрались на площади и ждут его красноармейцы. Тут же пришел командир одного из полков, вместе направились к площади. Командир дорогой пояснил Чапаю настроение бойцов.

Чапаева Федор слушал впервые. От таких ораторов-демагогов он давно уж отвык. В рабочей аудитории Чапаев был бы вовсе не годен и слаб, над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись. Но здесь — здесь иное. Даже наоборот: речь его имела здесь огромный успех. Начал он без всяких вступлений и объяснений с того воп-

роса, ради которого созвал бойцов,— с вопроса о грабежах. Но дальше он зацепил попутно н огромную массу ненужнейших мелочей, все зацепил, что случайно пришло на память, что можно было хоть каким-нибудь концом «пришить к делу». В речи у Чапая не было даже и признаков стройности, единства, пронпкновения какой-либо одной общей мыслью: он говорил что придется. И все же, при всех бесконечных слабостях и недостатках, от речи его впечатление было огромное.

Да не только впечатление, не только что-то легкое и мимолетное — нет: налицо была острая, бесспорная, глубоко проникшая сила действия. Его речь густо насыщена была нскренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью.

Вы слушали и чувствовали, что эта бессвязная и случайная в деталях своих речь — не пустая болтовня, не позпрование. Это — страстная, откровенная исповедь благородного человека, это — клич бойца, оскорбленного и протестующего, это — яркий н убеждающий призыв, а если хотите, и приказание: во имя правды он мог и умел не только звать, но и приказывать!

«Я,— говорит,— приказываю вам больше никогда не грабить. Грабят только подлецы. Поняли?!»

И на это приказание отозвались оглушительные и приветственные н благодарственные, от глубины сердца, радостные крики многотысячной толпы. Был неописуемый восторг. Красноармейцы клялись, веруя в слова, честно клялись своему вождю, что никогда не допустят грабежей, а виновных будут сами расстреливать на месте.

Помнятся обрывки чапаевской речи.

— Товарищи! — крыл он площадь металлическим звоном.— Я не потерплю того, што происходит! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый *этой* вот расстреляю подлеца! — И он энергически в воздухе потряс правой рукой.— А я попадусь — стреляй в меня, не жалей Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо — так разбуди. Я завсегда с тобой, я поговорю, скажу, што надо... Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Вот я какой командир!

Федору стало неловко от беззастенчивого, ребячьего бахвальства, а Чапаев, минутку подождав, крыл невозмутимо:

— Я к этой жизни привык, товарищи. «Академиев» я не проходил, я их не закончил, а все-таки вот сформировал четырнадцать полков и во всех них был командиром. И там везде у меня был порядок, там грабежу не было, да не было и того, штобы из церкви вытаскивали рясу поповскую... Што ты — поп? Оденешь, што ли? На што украл?

Чапаев грозно обернулся в одну, в другую сторону, даже перегнулся назад, глянул пронзающе и быстро, словно хотел узнать среди многотысячной серой массы того злодея, о котором теперь говорил.

— Поп, известное дело, врет,— отвесил Чапаев крепкую мысль.— Он и живет обманом, а то какой же поп, коль обману нет?.. Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет гуся в масле жрать, только кости потрескивают. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует,— этим попы и опостылели нам... Это верно, а все-таки веру чужую не трожь, она не мешает тебе. Верно ли говорю, товарищи?

Место было выигрышное. Чапаев это знал и потому намеренно в **этом** месте поставил свой хитрый вопрос. Красноармейцы-крестьяне, раскаленные чапаевской речью, словно давая исход задушившему долгому молчанию, прорвались буйными криками.

Только этого и ждал Чапаев. Симпатии слушателей были теперь всецело на его стороне: дальше речь как ни построй — успех обеспечен.

— Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того все твое... Раз окончится война — куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров — сотне крестьян отдадим по корове. Отняли одежу — и одежу разделим поровну... Верно ли говорю?!

— Верно... верно... верно...— рокотом катилось в ответ.

Вспыхивают кругом оживленные лица, рыщут пламенеющие восторгом глаза. Красноармейцы летучими обрывками слов, кивками, смешками, веселым глазом выражают друг другу острое сочувствие, согласие, довольство. Чапаев держал в руках коллективную душу огромной

массы и заставлял ее мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам.

— Не тащи! — выкрикнул он, резко поддав левой рукой. На минутку стал, не находил нужного слова.— Не тащи, говорю, а собери в кучу и отдай своему командиру, все отдай, што у буржуя взял... Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу... Ранят тебя — вот получи из этой кассы сотню рублей... Убили тебя — раз тебе на всю семью по сотне! Што, каково? Верно говорю али нет?

Тут уж случилось нечто непредставимое — восторг перешел в бешенство, крики перешли в исступленный, восторженный вой...

— Все штобы было отдано,— заканчивал Чапаев, когда волненье улеглось,— до последней нитки отдать, што взято. Там разберем, кому отдать, у кого што оставить, вам же на помощь. Поняли? Чапаев шутить не любит: пока будут слушать — и я товарищ, а нет дисциплины — на меня не обижайся!

Он закончил речь свою под отчаянные рукоплескания, под долго не смолкающее «ура».

На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец, мигом распахнул шинель, задрал гимнастерку и быстрым движеньем расстегнул стягивавший штаны массивный серебряный казацкий пояс.

— Вот он, товарищи,— кричал парень, потрясая поясом над головой,— семь месяцев ношу... в бою достался... сам убил, сам с убитого снял... А отдаю. Не надо... на што он мне? Пущай на помощь идет, на общую. Да здравствует наш геройский командир товарищ Чапаев!

Толпа задрожала в приветственных восторгах. Федор видел, какое глубокое впечатление произвела чапаевская речь, он радовался этому эффекту, но только все тревожился вот относительно «сотни коров» да одежи, которую будут делить «пополам»; потом и с кассами этими полковыми тоже не все было ладно.

— Товарищ Чапаев,— обратился он,— мне охота теперь же ознакомиться с красноармейцами, да и рассказать бы я им хотел вкратце насчет нашей общей обстановки в стране, только скажите-ка им сами, что будет, мол, говорить комиссар, товарищ Клычков...

Чапаев — тут же на ящик, предупредил, и Федор стал рассказывать про борьбу на других фронтах — с Колчаком, Деникиным, со всеми вожаками белых армий. Косиулся коротко международной обстановки, остановился в двух словах на экономической жизни государства. В разных местах, как бы попутно и в виде иллюстраций, он привел чапаевские примеры, остановился на них и, не отвергая прямо, дал такие к ним «объяснения», что от положений остался только легкий душок...

Федор подходил к разрушению чапаевских положений крайне осторожно и все время подпускал выражения вроде того, что «хорошую и верную мысль товарища Чапаева о нашем о б щ е м имуществе враги наши истолковали бы, конечно, так, будто мы берем, тащим и делим кому и что и как вздумается... Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым, да и вы, конечно, думаете не так...». И Федор подкапывал и сваливал с ног ту «дележку», которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Во всяком случае, так можно было развить и понять его знаменитый пример: «Сотню отобранных коров мы разделим сотне крестьян — каждому по корове...». Без разъяснений такие положения оставить было невозможно.

Пребывание, правда очень краткое, в группе анархистов, крестьянское прошлое Чапаева и удалая его натура, невыдержанная, бесплановая, недисциплинированная,— все это настраивало его на анархический лад, толкало к партизанским делам.

Да, великое дело — слово: ни грабежей, ни бесчинств, ни насилий в станице больше не было.

* * *

Свисли черными туманами сумерки. Истомленные походом и тревогами отгремевшего дня, спали командиры. Заснул и Федор. Чапаев скоро разбудил его — подписать приказ. Проснулся, подписал, опять уснул. И опять разбудил его Чапаев. Всю ночь, до утра, без сна просидел этот удивительный человек. Проснется Федор и видит, как сидит Чапаев один, только светит скупая лиловая лампешка. Сидит он, склонившись грузно над картой, и тот же любимый циркуль с ним, что был в Александровом-Гаю: померит-померит — запишет, опять смерит и снова запи-

шет. Всю ночь, до петушииого рассвета, мерил ои карту и слушал молодецкий храп комаидиров. У дверей, сжав виитовку в обе руки, дремал часовой и серым лбом долбил по черному ребру штыка.

* * *

В Сломихииской пробыли четыре дия. Фруизе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросает иа ореибургский фроит. Обстаиовка скоро заставила изменить и это решение: перебросили бригаду не к Ореибургу, а в Бузулукский райои. Для детальиых переговоров Чапаева и Клычкова Фруизе вызывал в Самару — к себе.

Собрались в четыре мииуты. Знали, что больше сюда не вериутся. Побросали в саики походные саквояжики. Не стоит иа месте борзая тройка — выбрали ядреиых, самолучших коней.

Аверька уж сидит, готовый в степную скачь, и вожжи подобраиы, как старушечьи губы,— сухо и крепко. На крыльце Попов, Чеков, Теткин Илья, вся братва чапаевская,— высыпали провожать.

— Да скорей бы иас отсюда, товарищ Чапаев...

— Как приеду — вызову враз!

Тройка троиула...

Сверкиули в сиежиую пыль прощальиые крики. С крыльца — как в зеркальцах — плесиулась в глазах разлучиая тоска. Кто-то взвизгиул, кто-то киутом взмахнул, кто-то шапку вскииул до крыши... В серой тоске и в сиежных заметах пропало крыльцо...

Степи, степи! Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые!

А по степи ветер, как вздох, ходит пахучими и холодными валами, ходит иад белыми сиегами, ходит иад сиежными пустырями, пропадает в чистую сииь раиието мартовского иеба.

* * *

От Сломихииской путь держали обратио иа Алексаидров-Гай — по тому самому пути, где шли еще так иедавно с полками...

Ехали и молчали. Степь ездоку — как люлька: гоиит в усладиый сон.

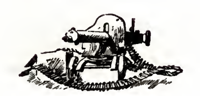
Вот уж и Казачья Таловка. Ну, давно ли здесь готовились к бою, изучали и циркулем вспарывали карту, совещались, мозговали — как бы в орех расколотить казару? И ночь — с песнями, с веселым разговором, а потом — с мертвой тишью, здоровенным храпом усталых, крепко-накрепко уснувших бойцов...

Федор припомнил костры и у костров — рыжебородого того мужичка и рослого кудрявого парня, что повертывал на угольях картошку и выхватывал на штык. Где они теперь? Остались ли живы?

Так до самого Александрова-Гая — в воспоминаньях о пережитом, в отчетах перед собою за свои поступки.

В Алгае были недолго: передохнули, перекусили — и в путь.

Крыли степь перекладными тройками вплоть до самой Самары.



VI. В ПУТИ

Чапаев был из тех, с которыми сойтись можно легко и дружно. Но так же быстро и резко можно разлететься. Эх, расшумится, разбунтуется, зло рассечет оскорбленьем, распушит, распалит, ничего не пожалеет, все оборвет, дальше носа не гляиет в бешенстве, в буйной слепоте. Отойдет через минуту — и томится. Начинает трудно припоминать, осмысливать, что наделал, разбираться, отсеивать важное и серьезное от случайной шелухи, от шальиого чертополоха... Разберется — и готов пойти на уступки. Но не всегда и не каждому: лишь тогда пойдет, когда з а х о ч е т с я, и только перед тем, кого уважает, с кем считается. В такие моменты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. На удочку шел Чапаев легко, распахивался иной раз так, что сердце видно.

Человек он был шумный, крикливый, такой строгий, что иной, не зная, подойти к нему боится: распушит-де в пух, а то, чего доброго, и двинет вгорячах!

Оно и в самом деле могло так быть — на незнакомого да на робкого. Чем в тебе больше страху, тем горше свирепеет сердце у Чапаева: не любил он робкого человека. И поглядеть со стороны — зверем зверь, а поближе приглядись — и увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханью, и от этого дыханья каждый раз вздрагивает оно радостно-чутко. Присмотрись — и поймешь, что за этой пальной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не остается, ни малого камушка у пазухи,— все он выстреливает разом, подчистую. И когда отговоришь с ним — согласен ты или несогласен,— знаешь зато и чувствуешь, что исчерпал вопрос до донышка. Неконченых дел и вопросов с Чапаевым никогда не остается — у него всегда все кончено.

Сказал — и баста!

Голову свою носил Чапай высоко и гордо — недаром слава о подвигах его громыхала по степи. Та слава застлала Чапаю глаза, перед самим собою рисовала его непобедимым героем, кружила ему голову хмелем честолюбия.

Подручные хлопцы в глаза и за глаза больше всех шумели про подвиги чапаевские. Это они первые распускали и были и небылицы, они их размалевывали яркими мазками, это они раньше всех пели Чапаю восторженные гимны, воскуряли фимиам, рассказывали про его же собственную, чапаевскую, непобедимость. Когда Чапаю превосходно врали и даже льстили, он слушал охотно, облизывался, как кот с молока, сам поддакивал и даже кой-что прибавлял в речь враля. Зато пустомелю и мелкого подхалима, не умеющего и соврать путем, выгонял в момент. И впредь наказывал — не пускать к себе.

Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка: он по-детски верил слухам, всяким верил — и серьезным и пустым, чистейшему вздору.

Верил тому, что в Самаре, положим, на паек выдают по десять фунтов махорки, а вот на фронте и осьмушки нет.

Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовное пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы и что они ежесекундно нас предают врагу.

Верил тому, что снаряды, обувь, хлеб, винтовки, пополненье, что бы там ни было,— все это опаздывает по злой воле отдельных лиц, а не из-за общей нехватки, расстройства транспорта — порчи мостов, положим, и так далее, и так далее.

Верил, что тиф заносят птицы: чем больше птиц, тем больше тифу; верил, что сахар растет чуть не целыми головами, что коня не бить — он испортится...

Чему-чему только не верил он по простоте, по чистоте сердечной!

Или вот товарища берет, ну, Попова, что ли. Попов — комбриг. Попов парень сам герой и был с Чапаевым во всех переделках, ходил в атаку не раз, не раз прострелен, контужен, одним словом — не зря комбриг. И вот какой-нибудь случай в боях: не успел Попов обозы стянуть в срок, не успел на помощь другой бригаде подойти, отступил, положим, на пяток верст, да с тем, чтобы десять разом нагнать. И уж кто-то шепчет доверчивому начдиву:

— Трус Попов-то... Побежал... Зря не помог — растерялся вовсе. Да пьянствовал всю неделю... Против тебя, Чапаев, слово говорил... Зависть имеет...

И слушает, внимает жадно и верит доверчивый Чапай, распаляется гневом:

— Да я ему!.. Да я голову оторву! Расстреляю за пьянство! Это што: людей у меня губить, а сам пьянствовать? А Чапаев отвечай? Позвать немедленно!

И ждет, взбесонованный, когда приедет Попов, побросав дела, услыхав про грозовье. Прискакал Попов, в коридоре справляется:

— Сердит?

— У-ух как сердит!

— Все на меня?

— На тебя одного...

— Поди, наговорил кто?

— Да уж не без того.

— Ну, пронесет, бог даст...

И, наспех стянув ремни, оправив штаны, кобуру, подтянувшись по-военному, входит Попов:

— Здравья желаю, товарищ Чапаев.

А тот и не глядит. И не отвечает. Бешеные глаза под тяжелым свесом ресниц упали вниз. Дергает усы Чапай,

молчнт целую минуту. А потом — как пробка выскочнт нз бутылкн:

— Опять пьянствовать!

— Да я н не...

— Молчать! Распустнлнсь...

— Товарнщ Чапаев, я...

— Молчать! Расстрелять тебя мало! В такой обстановке — н до чего распустнлнсь! Это што? Это што такое? Это подо што Чапаева подвелн?

Попов молчит. Он знает, что выскочнт газ — и пробку вынимай спокойно. Он знает, что выкрнчнт Чапаев гнев свой н прнтнхнет. А как притнхнет, тут ему н докладывай, рассказывай, как было, опровергай клевету н вздорные слухн. Сначала поартачнтся, все еще по упрямству не станет слушать, но ты — ндн-ндн-ндн настойчиво н прямо к целн.

Только ему краешком поколыхай ту веру в клевету — обмякнет, как ситный, посмотрнт тебе ласково в глаза и скажет вниновато:

— А я, понимаешь лн...

— Поннмаю, поннмаю...

— Да-да, так вот я, понимаешь лн... Ну, говорят, отступнл... Ну, говорят, пьянство опять же...

— Ну да, ну да.

— Так я н повернл — как же не повернть? А ты бы вместо меня разве не повернл? Как же! Того гляди — тут каждый поверит!

И уж Чапаев смеется. И уж ласково треплет Чапай Попова по плечу. Чай пить с собой усажнвает, не знает, как окупить вину.

Прошло два дня, прошло три дня — случнлось с Поповым то же, н так же, так же от начала до конца будет верить Чапаев клевете и вздорному слуху, станет бушевать, кричать, грознть, а потом — потом ласкаться виновато.

Он был доверчнв, как малое днтя. Оттого н сам много страдал, но переменнться не мог.

Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много снл, что врага нельзя сломнть н обернуть в бегство.

— Ннкакой враг протнв меня не устоит! — заявлял он гордо н твердо.— Чапаев не умеет отступать! Чапаев

никогда не отступал! Так и скажите всем: отступать не умею! Наутро же гнать неприятеля по всему фронту! Передать, что я приказал! А кто осмелится поперек идти, доставить в штаб ко мне...

В своем деле и в своем масштабе Чапаев был большой мастер и знаток: он знал превосходно всю свою дивизию — ее бойцов, ее командиров; меньше знал и почти вовсе не интересовался политическим ее составом. Он превосходно знал ту местность, где развертывались боевые операции,— знал ее то по памяти, от юности, то от жителей, по расспросам, то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него свежая, цепкая — так все и заклещит, не выпустит, пока не надо. Знает он жителей, особо крестьянскую ширину; городом интересовался меньше; знает — что тут за мужик, чего можно ждать от него, на что можно надеяться, в чем опасность прогадать. Все, что надо, знал про хлеб, про обувь, про одежду, сахар, патроны, снаряды, махорку — про все знал; ни с каким его вопросом не застанешь врасплох.

Зато вот по вопросам другого порядка — по политическим и особенно по тем, что идут за пределами дивизии,— по этим вопросам не понимал, не знал ничего и знать не хотел. Больше того — многому вовсе не верил.

Международность рабочего движения, например, он считал сплошным вымыслом, не верил и не представлял, что оно может существовать в такой организованной форме. Когда же ему указывали на факты, на газетные сведения, он только лукаво ухмылялся:

— А газеты-то — сами же пишем... Чтобы веселее было воевать, вот и выдумали.

— Да нет, тут же лица, города, числа, цифры. Тут неопровержимые факты.

— А што они, цифры? Цифру я и сам выдумать могу...

Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся.

Потом, после частых и длительных бесед с Клычковым, и на это изменил свой взгляд, как изменил его на многое другое.

Дальше он считал, например, всю возню с анархистами ненужной и глупой затеей.

— Анархисту надо волю дать, он тебе вреда не принесет никакого,— говаривал Чапаев.

Программы коммунистов не знал нисколечко — а в партии числился вот уже целый год,— не читал ее, не учил ее, не разбирался мало-мальски серьезно ни в одном вопросе.

Наконец, припоминается отношение его к «штабам» — так он называл все органы, откуда получал приказы, директивы, а равно людей, патроны, одежду, все, что полагается. Ему до конца в этом вопросе удавалось привить очень мало: Чапаев был глубочайше убежден, что в «штабах» засели почти исключительно одни царские генералы, что они «продают налево и направо», а «народ», под руководством таких вот вождей, как он сам, Чапаев, не дается на удочку и, поступая п о п е р е к штабных приказов, обычно не проигрывает, а в ы и г р ы в а е т. Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная, и редко-редко где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из «низших чинов».

Впрочем, были и такие из офицеров (очень мало), которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался.

Не чтил и интеллигенцию. Тут ему не нравилось главным образом р а з г л а г о л ь с т в о в а н и е о делах и отсутствие видимого, ж и в о г о дела, до которого он сам был такой охотник и мастер. Тех же из интеллигенции, которые умели д е л о д е л а т ь, считал редчайшим исключением. Из этого отношения его к офицерству и к интеллигенции вполне естественно вытекало у Чапая стремление всюду поставить с в о и х людей: во-первых, потому, что они люди не слов, а дела и надежды; во-вторых, с ними ему легче, и, наконец, как говорил он многократно: «Учить надо крестьянина и рабочего теперь же, а учить можно только на деле. Я ему приказываю быть начальником штаба — отказывается, а сам того не знает, что для него же делаю. Прикажу, поставлю, почихает неделю, а там, смотришь, и заработает, хорошо заработает, никакому офицеру так не сработать!»

Эта линия — выдвигать повсюду своих — была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои, больше того — высоко чтившие его командиры.

Все эти особенности чапаевского характера Клычков рассмотрел довольно быстро и, рассмотрев, только больше убедился, что прежде надо завоевать у него авторитет и лишь потом перекрещивать, обуздывать его, направить на путь созидательной борьбы — не только слепой и инстинктивной, хотя бы и красочной, героической, такой шумной и славной.

Чем же завоевать авторитет? Надо взять его, Чапаева, в духовный плен. Разбередить в нем стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам — не только к боевой жизни.

Здесь Федор знал свое превосходство и убежден был заранее, что лишь только удастся п р о б у д и т ь — песня Чапаева, анархиста и партизана, будет пропета, его исподволь, осторожно, но упорно, будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Федора было много.

Чапаев из ряда вон, он не чета други́м — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня, но... и диких коней обуздывают! Только надо ли? — вставал вопрос. Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравирует, играет, как многоцветный камень?

Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы.

Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит...

И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу. Пусть не удастся, не выйдет — ничего: попытка не пытка, хуже все равно от этого не будет. Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!

* * *

Только отъехали от Александрова-Гая, как в задний ряд отошли из памяти и Сломихинская, и недавний бой, и все события этих последних дней. Вставало новое — то неведомое, огромное дело, по которому спешили теперь в Самару. Они еще не представляли себе всей мучительной

опасности, что создалась на колчаковском фронте, и не были осведомлены о серьезности наших последних поражений под Уфой. Но уж и без того ясно было, что не попусту вызывают их столь срочно на переговоры: подготовляется, видимо, большое дело, и в этом деле им придется играть не последнюю роль.

— Как думаете, зачем? — спросил Клычков.

— В Самару-то?

— Да.

— Перебрасывать... На другом месте нужны,— уверенно ответил Чапаев.

Точно оба ничего не знали, гадать попусту не хотели... Разговор оборвался сам собой. Каждый думал втихую — бескрайные невысказанные думы...

Приехали в первое попутное село. Остановились у Совета. Крестьяне, лишь только заслышали, что приехал Чапаев, набились в избу, теснились, проталкивались, жаждая взглянуть на прославленного героя. Скоро о приезде узнало и все село. На улице все закружилось, все спешили застать, взглянуть на него. У крыльца напрудила многолюдная толпа: ребятишки, бабы, наползли даже седобородые, сухие, белые старики. Все с ним здоровались, с Чапаевым, как с хорошим и давним знакомым, многие называли по имени-отчеству. Оказалось, что и здесь, как под Самарой, нашлись старые бойцы, воевавшие с ним вместе в 1918 году. И плывут, плывут умилительные, медовые улыбки, играют радостью серые чужие лица. Иные смотрят серьезно и пристально, словно хотят насмотреться досыта и отпечатать навеки в памяти своей образ геройского командира. Иные бабы стояли в смешном недоуменье, ничего не зная и не понимая, в чем тут, собственно, дело и на кого и почему так любопытно смотрят: побежали мужики к Совету, побежали с ними и они. Мальчишки не галдели, как галдят всегда, стояли смирно, терпеливо чего-то ждали. Да и все чего-то ждали — хотелось, видно, послушать, как Чапаев станет говорить. Отдельные, случайно пойманные слова прыгали из уст в уста по толпе. Их перевирали, их перепутывали, но гнали дальше, дальше и дальше.

— Сказал бы нам што-нибудь, товарищ командир,— обратился к нему председатель Совета.— Мужичкам же, видишь, охота послушать умную речь.

— Чего скажу? — улыбнулся Чапаев.

— А как там живут, скажи, кругом-то... Чего-нибудь да надумай...

Чапаев ломаться не любил. Охоту послушать у мужичков знал и видел сам — чего же не поговорить?

Пока запрягали лошадей, он обратился к крестьянам с речью. Трудно сказать что-нибудь про главную тему этой чапаевской речи — он повторял самые общие места про революцию, про опасность, про голод. Но и эти слова были по душе: шутка ли, сам Чапаев говорит! С напряженнейшей внимательностью выслушали они до последнего слова замысловатую, сумбурную его речь, а когда окончил, сочувственно покачивали головами, пришептывали:

— Это вот так да!

— Ну, так ишо бы!

— Ай н молодец!

— Много хорошего сказал, вот спасибо, братец... Вот так уж спасибо!

Сколько сел и деревень нн проезжали — Чапаева знали всюду, встречали его везде одинаково почетно, радостно, местами просто торжественно. Деревня высыпала целиком посмотреть на него, мужики вступалн в разговоры, бабы охали и шептались, мальчишки долго-долго кричали и бежали за санями, когда уезжали. Кой-где произносил он «речи». Эффект и успех были обеспечены: дело было не в речах, а в имени Чапаева. Это имя имело магическую силу — оно давало знать, что за «р е ч а м и», быть может бессодержательными и ничего не значащими, скрываются значительные, большие дела.

Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так: подчас случайному слову пользующегося популярностью человека всегда придается больше весу в народной молве, чем бесспорно дельному замечанию какого-нибудь бледненького, незаметного «середняка».

На одном из перегонов разговорились про частные дела, кто откуда, чем занимался, в какой среде вырос,— словом, на темы бескрайные. Федор рассказывал про черный рабочий город, где родился, получил первые детские впечатления, понял впервые, что жизнь — суровая борьба... Потом — кочевая жизнь, и так вплоть до самой революции.

* * *

До Самары ехали четыре дня. Сел и деревень по пути перевидали множество. И где бы ни произносилось имя Чапаева, оно всюду производило одинаковый эффект. Сам Чапаев держал себя с неподражаемым апломбом. Был такой случай. К какому-то селу подъехали поздним вечером, народу нет по улицам, про Совет спросить не у кого. Хотели толкнуться в избу к кому-нибудь, да вылезать неохота на морозе; поехали прямо на церковь в расчете, что найдут Совет «там где-нибудь, на площади».

Наконец попадается встречный.

— Товарищ, где здесь Совет?

— Там вон, за оврагом...— показал он в другую сторону.

Повернули, приехали. Огромнейшее здание, похожее на сарай, старое, глухое, дикое, да и в месте совершенно диком — за оврагом, на отлете села, так и видно, что в забросе. Стучали-стучали, насилу отперли. Выходит дряхлейший, глухой старикашка.

— Чего,— говорит,— надо, соколики?

— Где дежурный? — сердито спрашивает Чапаев.

— А нету никого... по домам все, тут днем только ходют... Нету никого...

— Позвать немедленно председателя!

Федор в таких случаях никогда не протестовал против настойчивости и даже резкости обращения: по тем временам особой вежливостью мало чего можно было добиться. Иной раз видят, что мямля человек, так его и метят затереть, забыть, не дать ему ничего. Суровое было время, по-суровому тогда и поступать приходилось, коли хотел какое-нибудь дело делать, а не слова долбить.

За председателем послали — тот еще по дороге от вестового узнал, что вызывает его «сам Чапаев». Подходит оробелый, снимает шапку, кланяется.

— Это што же, братец, Совет-то тебе — свинюшник, што ли? — грозно встретил его Чапаев.— Куда ты его к черту на кулички выбросил? Места тебе нет посреди-то села, а?

— Да народ не дает,— робко заметил председатель.

— Какой народ? Не народ, это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем... Ишь ты, уступчивый какой!

— Да я хотел...

— Чего хотел! — оборвал Чапаев.— Тут делать надо, не хотеть! А властью называешься... Завтра же перевести Совет на площадь, занять там дом хороший и сказать, што Чапаев приказал. Понял?

— Понял,— промямлил тот.

— Я поеду обратно из Самары, смотри, если застану в этой дыре...

Бессловесный и, видимо, никчемный председатель из числа «подставных» засуетился, забегал насчет лошадей...

Даже и ночевать не стали в «таком селе», ночью же укатили.

* * *

Приехали в Самару. Явились к Фрунзе. По-товарищески позвал он Чапаева и Федора зайти к нему вечером на квартиру — дотолковаться как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил о том, как решительно надо теперь действовать, какие нужны командиры по моменту. Когда Чапаев по каким-то делам отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Федора:

— Дело серьезное, товарищ Клычков... Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем — сами знаете... Как на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали.

Федор высказал ему все, что думал,— хорошее высказал мнение, оттенил только незрелость политическую.

— Я и сам того же мнения,— заключил Фрунзе.— Человек он бесспорно незаурядный. Пользу может дать огромную, только вот партизанщиной все еще дышит жарко. Вы постарайтесь. Ничего, что горяч.

Федор коротко пояснил Фрунзе, что в этом направлении как раз и ведет свою работу, что симпатию и доверие Чапаева уже безусловно заслужил и думает, что сойдется с ним еще ближе.

Вошел Чапаев. После короткой беседы Фрунзе сообщил ему о назначении и сказал, что ехать надо теперь же на Уральск и там ждать распоряжений, так как общий план предстоящей операции все еще довольно неясен. Простились. Ушли. Через два часа уезжали из Самары. Перед отъездом Чапаев попросил разрешения заехать

в Вязовку — свое родное село; Фрунзе согласился. Поехали на Вязовку.

— У вас кто в Вязовке-то? — спросил Федор.

— Все в Вязовке... Старики там, отец с матерью — названые... Двое парнишек, девчонка — эти живут со вдовой одной... У той, видите ли, двое своих, вот вместе все и живут.

— Знакомая хорошая?

— Да, хорошая знакомая... Очень знакомая.— Чапаев хитро улыбнулся.— Друг у меня помер, а она осталась, друг-то и завещал, штобы оставалась со мной...

* * *

В Вязовке встретили с большим триумфом. Председатель Совета сейчас же созвал заседание в честь приезда дорогого гостя. Там Чапаев говорил свои «речи»... Вечером в народном доме его имени «местными силами» поставили спектакль. Играли безумно скверно, зато усердие было проявлено колоссальное: артистам хотелось заслужить чапаевскую похвалу... Переночевали, а наутро — марш в Уральск!..

Федору показалось, что с ребятишками Чапаев обходится без нежности. Он его об этом спросил.

— Верно,— говорит,— и детей-то своих почти што не вижу, за чужих стал считать...

— А воспитывать как же станете?

— Да што же воспитывать: мне вот все некогда, а тут — кто их знает как, я даже и не спрашиваю об этом... Посылаю из жалованья, и кончено.

— Да жалованья мало.

— Мало, знаю... притом еще за ноябрь с декабрем у меня не получено... Вон где ноябрь... А теперь март за половину. Не платят...

— Плохо дело.

— Каждый теперь што-нибудь теряет, товарищ Клычков, каждый,— проговорил серьезно Чапаев.— Без этого, знать, и революция быть не может: один имущество свое теряет, другой — семью, иной, глядишь, вот ученье погубит, а мы — мы и жизнь-то, может, вовсе утеряем.

— Да,— задумался Федор,— может, и жизнь... А интересно, в самом деле: конца войны нет. Всё новые и новые

враги со всех сторон... И кругом в опасности... Мы вот с вами долго ли наездимся вместе? А близки ведь уж и новые походы.

— И думать не думаю про это,— отмахнулся рукой Чапаев.— Кто его знает, конец-то?.. Иной раз в такую кашу засыпался — и выходу, кажется, нет никуда, ан жив. Лучше не думать наперед. Я единожды к чехам в деревню по ошибке прикатил, в тысяча девятьсот восемнадцатом еще году было... Своя, думаю, да своя деревня-то, а шоферу што! — он увезет, куда хочешь... Только въехали — батюшки: чехи! Ну, говорю, Бабаев (шоферу-то), закручивай, как знаешь,— а у самого пулемет на руках. Крути, говорю, на улице, а я стрелять стану. Успеешь закрутить — спасемся, а то — поминай как звали. Он крутит, а я палю, он крутит, а я палю... Как завернул да как даст ходу, а кавалеристов тут человек пятнадцать на нас выехало, вот и началось вдогонку-то... Обернулся я лицом назад — пыль дугой, не видно ничего, только стреляют, слышу, на скаку-то: они на нас, а я все туда да туда... Обе ленты расстрелял. Ну-ка, лопни тут шина, што от меня осталось бы? Чех за мою голову и тогда награду обещал: принеси, говорит, голову Чапаева, золота дадим... У меня хлопцы прочитают эти бумажки, смеются над чехом-то, а один раз написали: «...приходите, мол, к Стеньке Разину в полк, мы вам и без золота отдадим...». Запечатали в письмо да мальчишке деревенскому дали отнести... У меня много бывало всяких происшествиев.

— И сохранен вот...— сказал Федор.— Чем сохранен — случайностью ли обстоятельств, своею ли находчивостью, кто знает? А поди, десятки раз на волосок от смерти был.

— Так вот,— отозвался охотно Чапаев,— именно десятки и есть, и даже многие десятки. Я себе все сам задаю этот вопрос: што это я такой живучий, словно нарошно кто меня оберегает?.. А другому, как только первая пуля полетела — хлоп, и нет человека.

— Ну, так что же,— спросил Федор,— сами-то вы все-таки как думаете: случайность тут или другое что?

— Да нет, случайность где же — везде голова нужна... Ой, как нужна голова! Ведь бывает, што всего одну минуту переждал, и нет тебя, да не одного тебя — сто человек можно загубить... Нас, сонных, чех захватил в деревне...

А я иа другом коице иочевал, вскочил в одиих штанах да «ура, ура». А и иет у иас иичего — оружия-то иикакого, да обрадовалась ребятия да как кииулась — разом отняли у кого што. И ие токмо плеииых своих отияли, а ихиих в плеи иабрали... Н а х о д к а иужиа, товарищ Клычков, без иаходки разом пропадешь иа войие.

— А пропадать-то иеохота? — пошутил Федор.

— И тут иеодииаково,— серьезио ответил Чапаев.— Вы думаете, каждому человеку жизиь свою жаль? Да ие только што, а и одии ие всегда ее любит как следует. Я, к примеру, был рядовым-то, да што мие: убьют аль ие убьют, не все мне одио? Кому я, такая вошь, больио иужен оказался? Таких, как я, иародят сколько хочешь. И жизиь свою ии в грош я ие ставил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаию: иа-ка, выкуси... А то и плясать иачиу, иа бугре-то. Даже и думушки ие было о смерти. Потом, гляжу, отмечать меия стали — иа человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше подымаюсь, тем жизиь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — миеиие о себе развивается такое, што вот, дескать, ие клоп ты, а человек иастоящий, и хочется жить иастоящему-то как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать иа окопе теперь ие буду: шалишь, брат, зря умирать ие хочу...

— А в дело? — спросил Федор.

— В дело? Вот вам клянусь,— горячо сказал Чапаев,— кляиусь, чем хотите, што в д е л е трусом ие буду иикогда... Ежели в дело — тут всякие другие мысли пропадают... А вы думали — што?

— Да иет, я иичего ие думал, так спросил...

— Так ли? Может, в ш т а б е про меия?

Федор ие поиимал, о чем ои говорит.

— С полковничками? — продолжал Чапаев, и в голосе чувствовалось едва сдерживаемое раздражеиие.— Там, коиечио...

— Да иет, серьезио же говорю вам,— успокоил его Клычков,— ии с какими «полковиичками» иичего я ие говорил, да и чего мие?

— А то оии поиаскажут...

— Не любят? — спросил Федор.

— Неиависть имеют ко мие,— медлеиио и виушительио сказал Чапаев.— Я телеграммы да писульки им такие

отсылал, что в трибунал хотели... Только вот война помешала, а то, чего доброго, и на суд попадешь. Ему там у стола сидеть — малина: полезай, говорит, на рожон... А я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь... На-ка, разыскались командиры... Патронов, коли тебе надо, так нет их, а на приказы — ишь гораздые какие! Ну и шил я их почем зря... Хулиган, говорят, партизан, чего с него взять...

— Так, товарищ Чапаев,— изумился Федор,— что же вы думаете — царскими офицерами у нас, что ли, Красная-то Армия управляется?

— А то што?

— Да как что: а реввоенсоветы, комиссары наши, командиры красные...

— «Ревасовет», выходит, што ничего и не понимает в другой раз, а наговорят ему — и верит...

— Нет, это не то, совсем не то,— возражал Федор.— У вас неправильное представление о ревсоветах. Там народ свой сидит, и понимающий народ, вы это напрасно.

— А вот увидите, как в поход пойдем,— тихо ответил Чапаев, но в голосе уж ни уверенности, ни настойчивости не было.

Федор рассказал ему, как организовались реввоенсоветы, какой в них смысл, какие у них функции, какая структура... И видел, что Чапаев ничего этого не знал, все эти сведения были для него настоящим откровением. Слушал он чрезвычайно внимательно, ничего не пропускал, все запоминал — и запоминал почти буквально: память у него была знаменитая. Федор всегда удивлялся чапаевской памяти: он помнил даже самомалейшие мелочи и нет-нет да ввернет их где-нибудь к разговору.

Федор любил эти долгие, бесконечные беседы. Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои — так, в разговоре с кем-нибудь посторонним, как бы невзначай. Федор видел, как тот почувствовал в нем «знающего» человека и, видимо, решил, в свою очередь, использовать такое общение. От вопросов об управлении армией, о технике, о науке они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности.

И договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства.

Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму! Не пришлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после; бывало, едут на позицию вдвоем, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему.

— А мы заниматься хотели,— скажет Федор.

— Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять-то можно,— скажет Чапаев с горечью, с сожалением.

Видел Федор, как жадно ухватывался Чапаев за всякое новое слово,— а для него многое, многое было новым! Он целый год состоял в партии, кажется, дело бы ясное по части религии, а тут как-то Клычков вдруг увидел, что Чапаев... крестится.

— Что это ты, Василий Иваныч? — обратился он к Чапаеву.— Коммунист господень, да в уме ли ты?

(Они уже через две недели знакомства перешли на «ты».)

Чапаев смутился, но задорно отвечал:

— Я считаю — и коммунисту, как он хочет. Ты не веришь — и не верь, а ежели я верю, так што тут тебе вреда какого?

— Не мне вред, я не про себя,— напирал Федор.— Я тебе-то самому изумляюсь: как ты, коммунист, и в бога верить можешь?

— Да, может, я и не верю.

— А не веришь, что крестишься?

— Да так... хочу вот... и крещусь...

— Ну как же можно? Разве этим шутят? — увещевал его серьезно Клычков.

Тогда Чапаев рассказал ему «историю» из времени далекого детства и уверял, что эта именно история и дала всему начало.

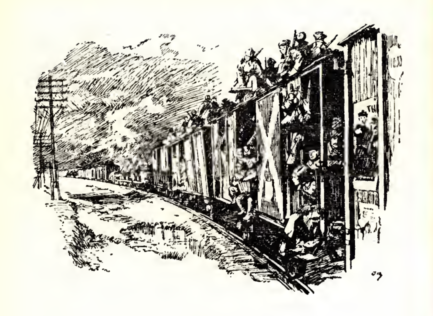
— Я мальчишкой был маленьким,— рассказывал он,— да и украл один раз семишник от иконы — у нас там икона стояла одна чудотворная. Украл и украл. Купил арбуза да наелся, а как наелся, тут же и захворал: целых шесть недель оттяпал... Жар пошел, озноб, поносом разнесло, совсем в могилу хотел... А мать-то узнала, што я этот семишник украл, уж она кидала-кидала туда... одних гривенников, говорила, рубля на три пошло, да все молится-молится за меня, чтобы простила, значит, богородица...

Вымолнла — иа седьмой иеделе встал... Я с тех пор все и думаю, што имеется, мол, сила какая-то, от которой уберегаться иадо... Я и таскать с тех пор перестал, яблока в чужом саду ие возьму,— все у меия испуг имеется... Под пулями инчего, а тут вот робость одолевает... Не могу...

Федор иа этот раз говорил иемиого, а потом часто подводил разговор к теме о религии, о ее происхождеиин, о так изываемом боге. Больше Чапаев иикогда ие крестился... Но ие только креститься он перестал, а созиался как-то Федору, что «круглым дураком был до тех пор, пока ие поимал, в чем дело, а как понял — шутнішь, брат: после сладкого ие захочешь горького...».

В результате этих иескольких бесед Чапаев совершеиио по-иному стал рассуждать о вере, о боге, о церкви, о попах; впрочем, попов он неиавидел и прежде, только крошечку все-таки н насчет их робел думать: все казалось, что «к богу они поближе нас, хоть н подлецы порядочные».

Чем дальше, тем больше убеждался Федор, что Чапаев, этот кремиевый, суровый человек, этот герой-партизан, может быть, как ребенок, прибраи к рукам; из иего, как из воскового, можио создавать новые н иовые формы, только осторожио, умело иадо подходить к этому, зиать надо, что «примет» ои, чего сразу ие захочет прииять... Основиая плоскость, иа которой можно было его особенно легко вести за собою,— это плоскость науки: здесь ои сам охотио, любовио шел иавстречу живым мыслям. Но и только. В другом — иеподатлив, крепок, порою упрям. Условия жнзии держали его до снх пор «в чериом теле», а теперь ои увидел, поиял, что существуют новые пути, иовое всему объясиеиие, н стал задумываться иад этим иовым. Медлеиио, робко и тихо подступал ои к заветиым закрытым вратам, и так же медлеиио отворялись оин перед ним, раскрывая путь к новой жизни.



VII. НА КОЛЧАКА

Чапаев нервничал выше меры — он без дела всегда был таков: как только на день, на два, бывало, придется остановиться и ждать чего-нибудь, Чапаева не узнать. Он в таком состоянии привязывается ко всем безжалостно, бранится по пустякам, грозит наказаниями...

Внутренняя сила, его богатая энергия постоянно ищет выхода, и когда нет ей применения в делах, она разряжается по-пустому, но разряжается непременно.

Уральская дивизия в это время фронт свой имела где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо: без больших поражений, но и без значительных побед. Вдруг — несчастье: в неудачном бою погибло что-то очень много народу. Фронт за Лбищенском колыхнулся. Новоузенский и Мусульманский полки были растрепаны; им на помощь срочно послали куриловцев. Целая катастрофа. И все так неожиданно. Как гром среди ясного неба. Не ждали, не предполагали, не было никаких признаков. Начальник Уральской дивизии, хладнокровный, испытан-

ный командир, и тот растерялся, не сразу освоился с происшедшим, не знал вначале, что надо предпринять. Советовался с Чапаевым, вместе порешили, как быть.

Но восстановить фронт уже не удалось — Уральск вскоре был окружен кольцом и в этом кольце продержался целые месяцы...

Как только получена была весть о катастрофе и передана в центр, Фрунзе приказал немедленно особой комиссии расследовать причины поражения; в комиссию входил и Чапаев, председателем назначили Федора. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство поручено не ему, а комиссару, но это сказалось лишь потом. Чапаев и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, может быть, не меньшую, если не большую роль могли играть обстоятельства политические; так, видимо, взглянул на дело центр, потому и поручено всем делом руководить Клычкову.

Приступили немедленно к собиранию всяких материалов, документов, копий различных приказов и распоряжений, сводок, телеграмм... Чапаев взял у Федора бригадный приказ, который говорил о столь неудачном наступлении на поселок Мергеневский,— в этом приказе была канва для объяснения происшедшего, поэтому значение приказу Клычков придавал исключительное. Чапаев внимательно его рассмотрел, составил «критическое свое мнение». Сидит, диктует машинисту. Входит Федор.

— Рассмотрел приказ-то, Василий Иваныч?

— Ну рассмотрел. Так што же?

— Я над ним тоже подумал довольно... обсудим,— предложил Федор.

— Можно прочитать, вот напечатано...

В голосе и в манере Чапаева чувствовались плохо скрываемая небрежность и какое-то недовольство, пока совершенно непонятные Федору.

— Прочитай-ка,— заметил он,— потолкуем, может изменения какие внесем...

— Да уж без изменений,— отрезал Чапаев.— Ты у себя изменяй, а я как написал, так и отошлю.

— Это почему? — изумился Федор и почувствовал, как его больно кольнул этот недружелюбный ответ.

— Да потому... Раз «председатель», так свое мнение и докладывай... А я «спец»... Я только «спец»...

Ои дважды с обидой выговорил это слово.

— Ну чего ты молотишь? — обиделся Федор.— Чего молотишь зря? Разбиваться-то зачем? Обсудим вместе, вместе и отошлем.

— Да иет уж,— упирался Чапаев.

Клычкову ие хотелось дальше толочься иа этом вопросе.

— Ну, читай,— опустился ои иа стул.

Чапаев прочитал свою критику иа бригадиый приказ Уральской дивизии. Разбор был довольио толковый, тщательиый, серьезиый. От обсуждеиия Федор уклоиился — миеиие свое решил послать отдельио.

— Как скажешь? — спросил Чапаев.

— Да хорошо, по-моему,— сквозь зубы процедил Федор.

— А то плохо? — повысил вдруг тои Чапаев.— Плохо-то плохо, да ие у меия... да!.. Мы зиаем, што делаем, а вот там фиитифлюшки разиые...

Федор ие поиял, по чьему адресу отливает Чапаев такие эпитеты.

— Затереть человека хотят...— продолжал он со злобой.— Ходу ие дают... Ну, мы управу иайдем, мы о себе скажем...

Это Чапаев измывался по поводу «проклятых штабов», которые считал скопищем дармоедов, трусов, карьеристов и всяких вообще отбросиых элемеитов.

— Постой, Чапаев, чего ты срамишься? — полушутя обратился к иему Федор.— Ни с того ии с сего — какого черта! Белеиы объелся, что ли?

— Давио объелся, давиться иачал.— И в голосе Чапаева послышалась укоризиа.— Давишься... Да... А взять-то иечего... У меия, брат, иикуда ие подкопаешься, Чапаев своему делу хозяии...

— Про что ты?

— Про то, все про то, што в академьях мы ие учеиы... Да мы без академьев... У иас по-мужицки, и то выходит. Мы погоиов ие иосили геиеральских, да и без иих, слава богу, ие каждый такой с т р а т е х будет...

— Не хвались, ие хвались, Василий Иваиыч, это тебе ие к лицу... Пусть тебя другие... А сам-то...— И Федор приложил палец к губам.

Давешнее иеприятиое чувство так и подмывало его чем-

нибудь язвиуть Чапаева, так сказать, отомстить ему. Чем же? А самым уязвимым местом — знал это Федор — является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблестей, способностей, военного таланта, особенно если к этому подпустить что-нибудь о «штабах». Момент был таков, что даже и бередить не приходилось,— Чапаев был уж неспокоен без того.

— Молчи лучше насчет стратегии-то,— выпалил Федор.

— Што же это молчать? Молчи сам,— негодующе передернулся Чапаев.

Переломив себя, стараясь казаться совершенно спокойным, Клычков сказал ему тихо:

— Вот что, Чапай... Ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только. Будем откровенны. Имей мужество сознаться сам: по части военной-то мудрости слаб... Ну какой ты стратег? Посуди сам, откуда тебе быть-то им?

Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза.

— Стратег плохой?! — почти крикнул он на Федора.— Я плохой стратег? Да пошел ты к черту после этого!

— А ты спокойнее,— злорадствовал Федор, довольный, что хоть немножко пронял его за живое,— чего тут нервничать? Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии,— да пойми ты, что всему этому учиться надо... А тебе некогда было, ну, не ясно ли, что...

— Ничего мне не ясно... Ничего не ясно...— оборвал его Чапаев.— Я армию возьму и с армией справлюсь.

— А с фронтом? — подшутил Федор.

— И с фронтом... А што ты думал?

— Да, может быть, и главкомом бы не прочь!

— А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкну — и справлюсь. Я все сделаю, што захочу, поиял?

— Чего тут не понять.

У Федора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которою ставил он вопросы,— эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьезно.

— Что ты веришь в силы свои, это хорошо,— сказал он Чапаеву.— Без веры этой ничего не выйдет. Только не задираешься ли ты, Василий Иваныч? Не пустое ли тут у тебя бахвальство? Меры ведь ты не знаешь словам своим, вот беда!

Еще больше возбудились, заблестели недобрым блеском глаза: Чапаев бурлил негодованием, но ждал, когда Федор кончит.

— Я-то!..— крикнул он.— Я-то бахвал?! А в степях кто был с казаками, без патронов, с голыми-то руками, кто был? — наступал он на Федора.— Им што? Какой им стратег...

— А я за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я неправ? — изловил его Федор.

Чапаев сразу примолк, растерялся, краска ударила ему в лицо; он сделался вдруг беспомощным, как будто пойман был в смешном и глупом, в ребяческом деле.

Федор умышленно обернул вопрос таким образом, исключительно в тех целях, чтобы отучить как-нибудь Чапаева от этой беспардонной, слепой брани в пространство. И не только потому, что это «нехорошо», а все это было для Чапаева крайне опасно: услышат недруги, запомнят, а потом со свидетелями да с документами припрут его к стене — деться будет некуда, скверненшее создастся положение. А у Чапаева сплошь и рядом можно было слышать, как он костит сплеча и штабы, и реввоенсоветы, и ЧК, и особые отделы, и комиссаров — всех, всех, кто по отношению к нему может проявить хоть малейшую власть. Шумит, бранится, проклинает, грозит, а все впустую: объясни ему — и все поймет, согласится, даже отступится иной раз от своего мнения, хоть медленно, туго и неохотно. Отступать не любил даже в том, что сказал. Говоря к слову, он и приказов своих никогда не менял; в этом заключалась их особенная, убеждающая сила.

Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Федор решил процесс *обучения* довести до конца, уйти и оставить Чапаева в раздумье: «Пусть помучится сомнениями, зато дольше помнить будет».

И когда Чапаев, оправившись немного от неожиданности, стал уверять, что «не имел в виду... говорил только о них» и так далее, Федор простился и ушел.

* * *

Когда в полночь Клычков возвращался, он в комнате у себя застал Чапаева.

Тот сидел и смущенно мял в руках какую-то бумажонку.

— Вот, почитайте,— передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку.

Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на «вы». Федор это заметил теперь в его обращении, то же увидел и в записке.

«Товарищ Клычков,— значилось там,— прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет, о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла, а если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняясь вашим присутствием, и говорю все, что на мысли против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас, как друга. Чапаев».

Вот записка. От слова до слова приведена она, без малейших изменений. Последствия она могла иметь самые значительные: рапорт был уже готов, через минуту Чапаев показал и его. Если бы Федор отнесся отрицательно, если бы даже промолчал, дело передалось бы «вверх» и кто знает, какие бы имело последствия. Странно здесь то, что Чапаев совершенно как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы — все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера: без оглядки, сплеча, в один миг приносить в жертву даже самое дорогое, даже из-за совершенной мелочи, из-за пустяка.

А подогреть в такой момент — и «делов» еще, пожалуй, наделает несуразных.

Прочитал Федор записку, повернулся к Чапаеву с радостным, сияющим лицом и сказал:

— Полно, дорогой Чапаев. Да я и не обиделся вовсе, а если расстроен был несколько, так совсем-совсем по другой причине.

Федор промолчал и лишь на другой день сказал ему про настоящую причину.

— Вот телеграмма,— показал Чапаев.

— Откуда?

— По приказу из штаба выезжать надо завтра же на Бузулук... В Оренбург не едем... Кончить все дела и ехать...

Подумали и порешили до утра не откладывать, а прикончить все теперь же и ночью выехать — окончательный разбор неудачной операции уральской дивизии все равно в один день не закончишь: надо выезжать на место, достать еще некоторые документы и так далее. Решено. Сейчас же в штадив. Вызвали, кого было надо. Переговорили. Через полтора часа уезжали из Уральска в Бузулук.

...Колчак уже взял Уфу и приближался к Волге. Обстановка создавалась грозная. Самара была под ударом; вместе с нею под ударом были и другие крупные поволжские центры. Обстановка допускала возможность отхода на Волгу. Это был бы тяжкий удар для России. Красное командование не хотело этого отхода, горячо взялось за оборону, во что бы то ни стало решилось устоять, переломить создавшееся положение, вырвать у врага инициативу и погнать его вспять от центра советского государства. В Бузулукском районе готовился мощный кулак: отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чапаевской дивизии поручалась большая задача — ударить Колчака в лоб и в кругу других дивизий гнать его от Волги, имея ближайшей целью захват Уфы.

Кроме тех частей, что двигались от Сломихинской, кроме действовавшей под Уральском, спешно переброшенной к Бузулуку, в район Сорочинской, бригады Еланя, талантливого молодого командира, в 25-ю дивизию включалась бригада под командой какого-то офицера, через две недели перебежавшего к белым. В этой бригаде, сгруппированной неподалеку от Самары, в районе Кротовки, находился и Иваново-Вознесенский полк.

* * *

Колчак двигался широчайшим фронтом на Пермь, на Казань, на Самару. По этим трем направлениям шло до полутораста тысяч белой армии. Силы были почти равные — мы выставили армию, чуть меньшую колчаковской. Через Пермь на Вятку метил Колчак соединиться с англи-

чанами, через Самару — с Деникиным; в этом замкнутом роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию.

Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре: здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколочены его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника — ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь, до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали полки Каппелевского корпуса — цвет и надежда белой армии; они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, торжественно встречаемая измученным и разоренным населением.

Железнодорожные станции и полустанки похожи были на бутылки с муравьями: все ползут, спешат, сталкивают один другого, срываются, подымаются и снова спешат, спешат, спешат... Приходили поезда — с них соскакивали, как сумасшедшие, целые толпы красноармейцев, мчались в разные стороны, гурьбой сбивались у маленьких кирпичных сараюшек, выстраивали очереди, звенели чайниками, торопились, бранились, негодовали, топтались на месте, ожидая кипятку; другая половина ударялась врассыпную по станции и окрестному поселку, закупала спички, папиросы, воблу — что попадало под руку, выпивала у торговок молоко, закупала хлебища, хлебы, хлебцы и хлебишки... Никогда не убывающей и отчаянно протестующей толпой хороводились у коменданта, проклинали порядки и непорядки на чем свет стоит, костили трижды несчастного коменданта, просили невыполнимого, клялись несуществующим, ожидали несбыточного: то требовали немедленно «бригаду», машиниста ли, паровоз ли новый, теплушки другие или обменять теплушки на классные... Когда в комендантской сообщали, что «нет, нельзя, не будет», к буре протестов и оскорблений присоединялись угрозы, клялись отомстить самолично или наслать какого-нибудь своего грозу-командира.

Вдруг звонок.

— Который?

— Третий.

И целая ватага протестантов, как оголтелая, срывается от комеидантской решеткн н мчится куда-то по путям, сбнвая встречных, вызывая то изумление, то проклятия и угрозы.

Три звоика... Свисток... Эшелон трогается, и вот еще долго ему вдогонку мчатся партиями н в одиночку отставшие красиоармейцы, повисая иа подиожках, ухватываясь за лесеики н приступки, взбнраясь иа крыши... Или, измучившись, махиув рукой, присядут на рельсах, усталые, и будут болтаться до нового попутиого состава — может, деиь, а может быть, и два, кто зиает, сколько... Одиого состава ие заметил, другой ие взял, третий ушел перед иосом...

В теплушках тьма: ин свечки, ии лампы, ии фоиарика. На голых досках, замызганных лаптями, грязиыми сапогами, сальиыми котелками, политых щами и чаем, заплеваииых, забросаиных махорочными цигарками, лежат красиоармейцы. Долги иочи — долго лежать во тьме, в холоде, чуть укрывшись дряииой дырявой шииелишкой, ткиув в нзголовье брезеитовую сумку. На стаициях долго таскают взад н вперед, переставляют, передают, с кем-то соедииляют, от кого-то отцепляют, иемилосердио бьют буферами, до содрогаиия мозгов... Крнчат и бранятся в темиоте какие-то люди с крошечнымн ручиыми фоиариками... Гдеинбудь иа далеких задиих путях поставят «отстояться». А там сгрудились такие же составы, и в иих так же битком набиты красноармейцы — выглядывают нз верхиих крошечиых окоицев, соскакивают, выбегают, залезают, карабкаются вверх. Движение около «заморожеииого» эшелоиа всегда идет круглые сутки: одии торопятся «по делам», другне просто побегать — согреться, третьи высматрнвают, где плохо спрятаиы шпалы, дрова, ящикн — все, чем можио топить, ниые «так себе» болтаются совершеиио безмятежио целую иочь около стаиции и ищут, ие будет лн каких приключеиий.

После миогих дией путн, после долгих мытарств, изиурнтельиых стояиок, скаидалов, может быть драк и даже перестрелки — приехали! В шнроко распахнутые дверн теплушек живо выбрасываются вещи; накидают их высокую груду, двонх со штыками оставят сторожить, остальиые — в подмогу... Там сво́дят по подмосткам коией, спутывают, увязывают, сгоияют табуном, окружат, сто-

рожат — не разбежались бы. Медленно скатывают орудия, повозки с разным имуществом, автомобили — все, что имеется...

Готово! Опорожненный состав, как сирота, смотрит пустыми, теперь еще более холодными теплушками. Гвалт, перебранка, путаница, неразбериха, случайная, разрозненная команда, которую никто еще не слушает. А вот настоящая:

— В поход!

И начинается беганье — заботливое, торопливое, разыскиваются роты, взводы, отделения... Наконец все построено. Тронулись. И заколыхались рядами — широкими, стройными, застучали, загремели повозки, заржали, зафыркали отстоявшиеся кони, залязгало оружие, то здесь, то там срывается случайный выстрел. Первые версты — ровными рядами, первые версты — бодро и четко, со звонкими, сильными песнями, а дальше... дальше отсталых, перемученных, больных посадят на повозки, перепутаются ряды, и не слышно больше песен: теперь только бы на отдых поскорее... Вот он и отдых, привал: одни через минуту будут молодецки храпеть в мертвом сне, другие, неугомонные, и теперь останутся песни петь, гармонику слушать, плясать плясовую — вприсядку, с гиканьем, «под орех»... С привала до привала, с привала до привала — и в окопы.

Начинается боевая жизнь.

Бригаду, что пришла к Бузулуку, получил Попов; Сорочинской командовал Елань, а Шмарину несколько позже вручили ту, из которой к белым убежал ее бесславный командир. Дивизия сосредоточилась. Сосредоточились другие дивизии, сосредоточились, нацелились армии, замер весь фронт в ожидании первых ударов.

«Быть или не быть?» — вот какую цену этим первым ударам придавали многие в ту пору.

«Если не вырвем инициативу, если будем отброшены за Волгу и Колчак замкнет на юге и севере роковое кольцо (а это так возможно) — быть или не быть тогда Советской России?»

Да! Все опасности эти были тогда серьезнее и ближе, чем многие думали. Вятка, Казань, Самара, Саратов уже захлестывались первыми брызгами огромной белогвардейской волны. Путь на Самару у Колчака был самый

желанный, самый важный, самый серьезный: отсюда ближе всего к сердцу России. Недаром на вагонах у него значилось:

«Уфа — Москва».

Передовые разъезды уж близко показывались под Бузулуком — в последние дни потерян был и Бугуруслан. Все напряженней обстановка, все ближе враг, все опасней положение.

Кое-что у нас еще не готово, не всё подвезли, не все в сборе, не хватает снарядов, неудобна весенняя распутица — да некогда ждать, каждый день сгущает тучи, близит страшную, черную грозу...

Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью Красная Армия. Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий. Ждет сигнала. По этому сигналу — грудь на грудь — кинется на Колчака весь фронт и в роковом единоборстве будет пытать свою мощь...

28 апреля... Незабываемый день, когда решалось начало серьезного дела: Красная Армия пошла в поход на Колчака.

VIII. ПЕРЕД БОЯМИ

Бузулук и не думал эвакуироваться. Все поставлено было на ноги — готовились к схватке. Партийный комитет, исполком, профессиональные союзы сомкнулись вокруг стоявшей здесь дивизии, отдавали все силы Красной Армии. Суровый лозунг «все для фронта» осуществляли здесь настойчиво — вероятно, таким же образом, как сотни раз осуществлялся он в других осаждавшихся центрах.

Бузулук был под ударом; неприятельские разъезды показывались всего в нескольких десятках верст от города. Сюда бежали со всех концов, а главным образом со стороны Бугуруслана, одиночные советские и партийные работники, которых не успели захватить колчаковские разъезды, не успела выдать своя сельская белая шкура. Многие тут же вступали в армию рядовыми бойцами, потом доходили с победоносными полками до своих сел и снова брались за работу, а иные уже не оставляли полков и уходили с ними в безвестную даль — бойцами, рядовыми красноармейцами.

В атмосфере, насыщенной нервными настроениями, кровью и порохом, чувствовалось приближение целой эпохи, новой полосы, большого дня, от которого начнется новое, большое расчисление. Отдавались последние подготовительные распоряжения, все напрягалось, собиралось, устремлялось к единой цели. В городке, обычно таком скромном и сонном, засвистели трепетные мотоциклы, проносились автомобили, по всем направлениям скакали конные, проходили четким и сильным ходом колонны бойцов.

Штаб дивизии помещался на углу двух главных улиц; в этом центре оживление не уменьшалось ни ночью, ни днем — здесь, как в фокусе, собиралась и отражалась вся напряженная, шумная и торопливая жизнь последних дней.

Чапаев с Федором, тесные друзья и неразлучные работники, у себя на квартире бывали редко: жизнь проходила в штабе. Из центра то и дело поступали приказы и распоряжения; с мест, от своих частей, тоже приходили разные сведения и запросы, шли бесконечные «собеседования» по телефону, по прямому проводу. Самыми долгими и самыми скандальными переговорами были, конечно, те, что кружились около всяких нехваток. Но в ту пору нехваток было столько, сколько и самих вопросов, поэтому отношения с частями (да и с центром) обычно проходили в повышенных тонах и полны были то уверениями, то просьбами, то угрозами «дать ему совсем иной ход». Чапаеву думалось, что стоит только нажать на «разные там совнархозы», и мигом появится в изобилии все необходимое. Увидит он или узнает про какие-нибудь два-три десятка телег, про четыре бочонка колесной мази, узнает, что где-нибудь на складе хранится аршин полтораста сукна, сколько-нибудь шапок, валенок, полушубков, и мечет громы-молнии, домогается, чтобы все это было отдано в армию. Лозунг «все для фронта» он понимал слишком уж буквально. И думалось Чапаеву, что этими крохами и лоскутьями можно будет накормить и прикрыть всю нашу многомиллионную армию. Об экономической разрухе он говорил многократно, а вот представить себе дело в его конкретной сущности, видимо, еще не мог, не умел и выводов из слов своих не сделал никаких. От претензий и легкомысленных попыток его обычно отговаривал Клычков, и, надо сказать, отго-

варивал без большого труда: Чапаеву всегда было достаточно привести пару серьезных доводов для того, чтобы он с ними молча согласился.

Молча, только молча! А чтобы отказаться от слов своих, взять их обратно, признать неправильным что-нибудь и открыто заявить о том,— ну уж этого не ждите, этого Чапаев не сделает никогда! Больше того — ему и самые доводы должны быть представлены категорически и убедительно: он терпеть не мог стонущих и мямлящих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою ни означали.

Любил человек сильное, решительное, твердое слово. А еще больше любил решительное, твердое, умное дело!

* * *

Через два дня бригада Еланя выступила в поход. Надо было ее навестить — стояла от Бузулука всего в сорока верстах.

Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность спокойно мыслить и говорить, в двадцать два года казавшийся стариком — таков был командир бригады Елань.

Он еще в 1917 году бросил в деревне свое незамысловатое хозяйство и поступил в Красную гвардию. Скоро судьба столкнула его с Чапаевым, которому пришелся Елань по душе умной речью, быстрым делом и поразительной смелостью, доходившей до безрассудства. Чапаев назначил его командиром пешей разведки. И были случаи, когда втроем-вчетвером подбирался Елань к спящим казакам, а чаще того — к чехословакам. Откроет пальбу, нагремит, обезоружит и пригонит, глядишь, разом десятка полтора. Этих дел за ним числилось множество — таких же лихих, фантастических операций, которые выделывал и так любил сам Чапаев. На Иргизе, в Гусихе, в бою с чехами Еланю пробило ногу; похворал-похворал, отлежался. Чуть рана поджила — он опять в строй. Побыл недолго — в новом бою пробило руку. И не страшна была рана, не пугали операция, боль, мучительное лечение, это все бы пустяки, а вот жалко оставлять боевых товарищей. И тут не долежал — воротился раньше времени.

Непрерывные жаркие бои на уральском фронте отняли последние силы, растрепали и без того слабые нервы. Его

мускулистое загорелое лицо то здесь, то там подергивается нервной рябью; широкие ноздри дрожат, как у дикого зверя; растрепались мочальные русые волосы; испачкан чернилами красный — увы, уже морщинистый — высокий лоб; сухим металлическим блеском горят воспаленные серые глаза; на широких, рабочих ладонях — заскорузлые мозоли; ворот рубахи все время отстегнут, как будто жарко, душно ему; голос неровный, дрожит в разговоре, срывается на высокий, пронзительный фальцет. Когда говорит Еланъ, с ним говорит весь его худенький, мускулистый, упругий организм: в такт сюда и туда подергивается голова, топают ноги, стучат кулаки. Елань себе цену знает и в обиду себя никогда, никогда никому не даст, даже своему командиру.

Его коснулась и разбередила стихийная и какая-то сказочная слава, которая выпала в степях на долю Чапаеву. Закружилась от зависти голова, захватило от жарких надежд и желаний дыханье.

«А отчего бы и мне не быть Чапаевым?»

И он все время был полон этим чувством, которое отымало теперь в их встречах и искренность и теплоту, омрачало так еще недавнюю чистую дружбу. Чапаев чувствовал в Елане эту перемену, но никогда не согласился бы отпустить его от себя: он знал, что на таких Еланях родилась, держится и ширится его личная слава. А Елань не оставил бы Чапаева за славу, лучи которой падали и на него, за широкий путь, который тот открыл перед ним и на который увлекал за собою в неудержимом красочном порыве.

Встретились приятельски. Не пропустив ни одной минуты — сейчас же за стол, к карте, к приказам, к прямому проводу, телефону. Гонцов — за командирами полков, за начхозами, врачами, комиссарами. Картина установлена точно. Как будто все-все теперь предусмотрено, ничто не должно сорваться, только бы разыграть все, как по написанным нотам. Надо быть большим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам! Елань был мастер на этот счет выдающийся, и уже через три дня слышно было, как он искалечил целую вражью дивизию. Сидели и вымеривали, вымеривали и обсуждали, обсуждали и спорили, не соглашались, предостерегали друг друга, потом договаривались, мирились на том, что всем казалось разумным.

— Теперь собраться надо с полками,— сказал Чапаев.— Кой-што, может, и им объясним...

— А... мигом!

Поднялся комбриг и всем командирам наказал привести немедленно бойцов в самый просторный кинематограф.

— Да сказать, что товарищ Чапаев доклад станет делать! — крикнул он вдогонку.— Пусть приготовятся слушать.

Не понять, зачем сказал: вправду ли, в шутку ли, в насмешку ли над охотником «докладывать» Чапаевым? По тону ничего нельзя было понять — у него на шутки и на команду одинаковая речь.

Через полчаса в огромном сыром, неприютном зале кинематографа среди серых шинелей яблоку негде было упасть; еще больше осталось за дверями — не уместилось. На эстраде стол, на столе, как водится, графин с водой, стакан, блестящий звонок с деревянной ручкой... Как только появился Чапаев, зашушукали, откашливались наспех, поправляли шапки, сами хотели казаться молодцами. А как сказал он первое слово, такое могучее и любимое: «товарищи...», сомкнулась тесно безликая толпа, онемела, напряглась в ожидании желанных слов.

— Товарищи,— обратился Чапаев.— Идем воевать на Колчака. Много побили мы с вами казаков в степи — не привыкать к победам. Не уйдет от нас и адмирал Колчак...

Бурей неудержимых восторгов, криков и оглушительных аплодисментов прорвалась молчавшая толпа. Атмосфера сразу накалилась. Через две минуты все воспринималось острей и горячее. Грошовому слову алтын была цена, алтынное слово ценилось на рубль. У Чапаева было в запасе несколько выигрышных фраз — он не упускал никогда случая вставить их в свою речь. Это, по существу, были совершенно безобидные и даже вовсе не красочные места, но в примитивной, подогретой и сочувственной аудитории они производили невыразимый эффект.

— Я, товарищи, не старый генерал...— грозил протестующий Чапаев.— Этот генерал бывало за триста верст дает приказ взять во что бы то ни стало такую-то вот сопку. Ему говорят, што без артиллерии не дойдешь, што тут в тридцать рядов завита колючая проволока... А он,

седой черт, приказ высылает: гимнастику вас учили делать? Прыгать умеете? Вот и прыгайте!

В этом месте аудитория всегда разражалась дружным хохотом и шумно выявляла оратору свое сочувствие: безобидная элементарная картина приходилась по сердцу, попадала в точку.

— А я не генерал,— продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус,— я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадает мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, штобы все вы были целы да самому не погибнуть напрасно... Вот мы как воюем, товарищи...

В этих словах и в этих тонах выдерживал он всю свою речь. Впрочем, надо к чести его сказать, долго болтать не любил: не то что не мог, а понимал превосходство коротких речей.

Когда окончил, трудно уже было выступать Еланю, да и Федор произвел не ахти какое впечатление. За речами — концерт. Он был такой чудесной импровизацией, какую можно было встретить лишь в те дни и, верно, только на фронте.

Едва умолкли последние слова последнего оратора — еще, казалось, стояли они в воздухе и все ждали следующих, других слов,— как грянула гармошка. Откуда он, гармонист, когда взгромоздился на эстраду, никто не заметил, но действовал он бесспорно по чьей-то невидимой-неслышимой команде. И что же грянул? «Камаринского»... Да такого разудалого, что ноги затряслись от плясового зуда. Чапаев выскочил молодчиком на самую середину эстрады и пошел, и пошел... Сначала лебедем, с изгибом, вкруговую... Потом впритопку на каблуках, чечеткой. А когда в неистовом порыве загикала, закричала и захлопала сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку и охватывал вприсядку — только шпоры зазвенели да шапка сорвалась набекрень. Уж как счастлив был гармонист— вятский детина с горбатым лоснящимся носом и крошечными, как у слона, глазами на широком лице: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь!

Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка — и Чапаев отскакивает в сторону, вытаскивает изрядно

засаленный дымчатый платок, отирает довольное, веселое, мокрое лицо...

Целый час не пустовать эстраде: плясуны теперь выскакивают даже не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолгу бесцеремонно гонят: отплясал, дескать, свое — давай место другому!

За плясунами пошли рассказчики-декламаторы: такую несли дребедень, что только ахнуть можно. Не было еще тогда на фронте ни книжек, ни сборников хороших, ни песенников революционных,— на фронт все это попадало редко, красноармейцы мало что знали, кроме собственных частушек да массовых военных песен.

За рассказчиками надрывались певцы: тоже не задумывались долго над песнями — распевали, что раньше взбредет на ум. Канитель!.. Но веселая, сочная, многоцветная, искренняя канитель. От походов, от боевой страды, от окопной напряженной скуки, от полуголодной жизни — с какой охотой и радостью отдыхали бойцы! Потом весь день по избам или кучками на грязных, оттаявших улицах, за столом, в конюшне, за семечками — везде только и разговору было, что про веселый митинг-концерт... И в центре всех разговоров-воспоминаний стоит Чапаев: такой-то вот командир и люб бойцам... Сегодня на заре по холодному, туманному полю пусть ведет он цепи и колонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером под гармошку пусть отчеканивает с ними вместе «камаринского»... Знать, по тем временам и вправду нужен, необходим был именно *т а к о й* командир, рожденный крестьянской этой массой, органически воплотивший все ее особенности.

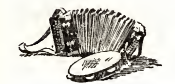
Вырастет масса — отпадет и в этом нужда. Уж и тогда не нужен был бы такой вот Чапаев, положим, полку иваново-вознесенских ткачей: там его примитивные речи не имели бы никакого успеха, там выше удали молодецкой ставилась спокойная сознательность, там на беседу и собрание шли охотнее, чем на «камаринского», там разговаривали с Чапаевым, как с равным, без восхищенного взора, без расплывшегося от счастья лица. Поэтому меньше всего любил Чапаев бывать в полку ивановских ткачей, таких скупых на триумфы и восторги.

При объездах полков обычно случалось само собою — молчаливо, без предварительного уговора — так, что

Федор не успевал перетолковать со всеми командирами, а Чапаев не успевал ознакомиться с ячейкой и политической работой. Но что не успевал сделать один, непременно успевал другой. А когда ехали дальше, и беседовали в пути — вся жизнь полка была как на ладони. Дружно, ладно жили. Ладно, дружно работали.

Когда открылось общее наступление на Колчака, была уже полная ростепель, начали трескаться и вскрываться реки на пригорках, и потом быстро и в долинах обнажалась земля; ручьи и ручейки размыли дороги; по грязи, смешанной со снегом, по тонкому льду не только артиллерии — невозможно было ехать конному, а местами и пешему не пройти. Весна входила в полные права.

Движение было затруднено до последней степени — этим и можно отчасти объяснить первоначальное медленное продвижение красных войск. Но только отчасти,— причины были и в чем-то другом. От первых же столкновений передовые колчаковские войска остановились как бы в раздумье. А тут удар за ударом посыпались с разных сторон. Перешедший к нам полк Тараса Шевченко спутал у них в этом месте карты и сразу ободрил бившиеся здесь красноармейские части. Не давая врагу опомниться, все дружней, все настойчивей стали напирать красные войска. Неприятельский фронт был поколеблен. Инициатива была уже выхвачена. Поворотный момент чувствовался и был заметен уже не одному только прозорливому взору. Росли надежды. Прибавлялась сила. Развивавшееся наступление сулило победу.



IX. В БУГУРУСЛАН

В памятиый деиь открылся уже общий фроитовой поход, а отдельиые схватки, разумеется, были и все время до того.

На фроите антрактов ие бывает.

В двадцатых числах апреля произошли первые встречи с противииком. Ои продолжал свое победоиосное шествие от Бугурруслаиа иа Бузулук. Бригада Еланя удерживала этот иапор, разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда полкам добраться стоило больших трудов: не позволяли распустившиеся дороги, буриые, глубокие весеииие ручьи. Не только орудия везти было иевозможио — даже пулеметы переправлялись в разобраиином виде, ссыпаииые в мешки. И как только добрались до Боровки, завязались бои, уже не прекращавшиеся все время, вплоть до самой Уфы.

В одиой операции под Бугурруслаиом Елань едва не попал самоличио в лапы белым — спасла счастливая

случайность. Он с Вихорем да человек семьдесят конных пробрались в неприятельский тыл и заметили двигавшуюся по лощине батарею. Поскакали, но лишь только приблизились, как артиллеристы-офицеры, поняв, что это за всадники, стали на картечь расстреливать красноармейцев. Видно уже было, как «номера» (стоявшие у орудий солдаты) отказывались стрелять, как офицеры колотили иных шашками и рукоятками револьверов, но невозможно было ничего поделать. И вот, отослав большую часть отряда в обход, отвлекши внимание, сам Елань, Вихорь да кучка кавалеристов, пробравшись по другой лощине, во весь карьер вынеслись почти к самым орудиям. Опешившие офицеры вскинули было на руки маузеры, но уже было поздно: одному Вихорь с налета раскроил голову, другого сбили лошадью, а остальных свои же «номера», повалившы, мяли на земле или держали с закрученными за спину руками. Все совершилось с поразительной быстротой; «номера» будто только и ждали того, чтобы всадники подскочили к орудиям. Те, что держали офицеров, умоляющими взглядами просили о пощаде, остальные застыли с поднятыми руками. Офицеров не осталось, солдат не тронули ни одного. Батарею направили на полк, к которому она торопилась на подмогу; а полк этот, увидев безнадежность положения, сдался тем красным частям, что на него наступали. Этой операцией остался руководить Вихорь, а сам Елань с десятком ординарцев поскакал дальше, в обоз, и когда мчались мимо повозок, груженых обувью и солдатскими гимнастерками, занимало дух от радостной мысли, что все это достанется красноармейцам. Обозники не сопротивлялись: одни обалдели от неожиданности, другие не понимали ничего, посчитав скакавших за своих, подумав, что их повертывают куда-нибудь «по назначению». Так весь обоз в несколько сот возов и достался на поживу обнищавшим красным полкам.

Неподалеку от обозов стоял штаб дивизии. Там поднялся переполох: в подобных случаях о размерах налета всегда создается преувеличенное представление — этим объясняется и паника, которая дает в руки «налетчикам» дешевую победу, а часто и обильную добычу. Точь-в-точь, как и всегда, получилось и теперь: никто ничего и никого не думал организовать, никто ничего не хотел, не стремился рассмотреть и разузнать — каждому в пору было

думать о спасении лишь собственной шкуры. Одним из первых выскочил на волю начальник дивизии, полковник Золотозубов; он вместе с дивизионным попом впрыгнул на дежурившую таратайку и бросился наутек. Всюду беготня, крики, путаница, торопливые ругательства, угрозы...

А десяток конных красноармейцев носился среди перепуганной штабной публики, гиканьем, стрельбой и криками о сдаче усиливая и без того неудержимую панику. За начдивом поскакал Елань и уже настигал с занесенной шашкой, когда «батюшка» обернулся из пролетки и выстрелил; пуля попала коню в переднюю ногу, он захромал, начал отставать. Тогда остановилась и пролетка, полковник соскочил на землю и с руки начал бить из маузера. Вторая же пуля угодила коню в голову, он покачнулся и упал, только Елань успел при падении высвободить ногу и, как соскочил, ударился бежать в соседний перелесок. На самой опушке крестьянин в телеге правит парой здоровых рабочих лошадей. Елань к нему. Тут растабарывать некогда — показал ему дуло револьвера, вскочил на ближнюю упряжную, отрубил постромки и помчался прочь, назад, туда, где остались товарищи. Но уже паника улеглась, там поняли, что гроза наскочила не страшная,— товарищей, видимо, угнали, а может, и переколотили,— не было никого; только, проносясь мимо избушки, где был штаб, увидел Елань одного из ординарцев, без коня, с окровавленной щекой. Кинулся к нему и крикнул, чтобы вскакивал сзади на широкий круп здоровенной лошади. Недолго думая, тот с размаху влетел и уцепился за Еланя, чуть не сдернул на землю.

Так скакали вдвоем сзади обозов, сзади избушек, оборвав красноармейские значки, скакали на дальний пригорок, к которому должен был подходить, по расчетам Еланя, свой полк. Впереди — группа конных, стоят на самом пути, объехать некуда.

Что за люди?

Когда подскакали ближе, увидели, что свои, сбившиеся здесь из обоза, которые не знают теперь, как через поляну, под обстрелом, пронестись к своему полку, колыхавшемуся на равнине. У Еланя конь хоть и здоровый, а для такого дела не годится. Понял это Яшка Галах, один из лучших, храбрейших ординарцев.

— Товарищ командир,— говорит,— бери мою лошадь, а я слезу, пешком пойду. Ежели заберут, скажу, что мобилизованный, авось не тронут — бывает, что и не трогают...

Раздумывать нечего. Соскочил Елань с широкой доброй кобылы, оставил на ней спутника, а сам пересел на шустрого Яшкина мерина. Вытянулись цепочкой и помчались. Остался Яшка Галах один, поплелся назад, уплел в обоз. (Он воротился только через три недели; рассказывал, что скрывался у них же в обозе — солдаты-мужички не трогали и не доносили; убежать не удалось сразу, потому что угнали его на тех подводах, что успели скрыться от красного полка.)

По полю мчались карьером. Как пчелы, звенели, шумели, свистели быстрые пули; двух всадников положили они на широком лугу, остальные доскакали. Доскакал и Елань. Быстро перекинули с другого фланга конную разведку, и она впереди полка помчалась отрезать уходивший обоз. Часть успела отступить, но больше того досталось полку: этим добром тогда немало подкрепили босую, ободранную бригаду Еланя.

* * *

Как только слышно стало, что у Еланя заварилось дело, поехали навестить его Чапаев с Федором, Кочнев, Петька Исаев, конных человек пятнадцать; в одиночку показываться тут было невозможно — шальные неприятельские разъезды могли объявиться в любом месте, да и кулачки деревенские не очень-то жаловали красноармейцев, тем паче «начальство».

День светлый, чистый, праздничный. По селам в ярких сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет зеленая молодежь,— даже удивительно все это видеть. На заваликах сидят, покряхтывают сгорбленные старухи; ради теплого праздника вырядились в тяжелые шубы, выползли на солнышко, маячат здесь и там, словно мраморные черные статуи. У Совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. Чапаев указал им верный путь, как избавиться от праздничной скуки. По деревням ручьи глубокими вымоинами изрезали во всех направлениях дорогу; на этих вымоинах приходилось застревать

не одному десятку бригадных телег, порывая гужи, ломая колеса. В каждом поселке вызывали председателя совета, давали ему распоряжение провести спешную мобилизацию и выправить дорогу... Подымался гвалт, протестовали, не брались, но уже на обратном пути можно было видеть, что дорога на самом деле устроена и починена. Так от деревни к деревне, от села к селу выправили весь путь до последних, дальних полков.

* * *

Еланя застали в штабе. По общему правилу, по привычке, он сейчас же раскинул по столу разукрашенную, исчерченную карту и начал указывать разные пункты, где, по последним сведениям, расположился неприятель. Скоро к штабу подъехало человек десять конных, забрызганных грязью, мокрых,— видно, что крепко усталые... Оказалось, группа эта, во главе с комиссаром бригады Буровым, ходила в разведку, побывала на этом берегу в четырех деревнях, переправлялась даже и на тот берег вплавь через реку, привезла немало ценных сведений. Вытащив записную книжонку, припрятанную где-то под самым горлом, чтобы не замочило, Буров шаг за шагом развертывал присутствовавшим обстановку за рекой... Неприятель готовился предупредить наступление красной стороны, сосредоточивая свои силы, подвозил артиллерию, перегруппировывал части, гнал торопливо в разные стороны длинные, тучные обозы... Маленькая книжонка раскрыла большие дела.

Что узнали — передали дальше, через штаб дивизии, в армию.

Федор с гордостью, с радостью смотрел на комиссара — этого рослого, сильного чумазого детину, оказавшегося питерским слесарем, добровольно ушедшим на фронт еще в прошлом, 1918 году.

Отошли в сторону, разговорились.

— Как политическая-то работа? — спросил Федор.

— Да што! — махнул комиссар.— Скажу вам откровенно, товарищ Клычков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте — не ругайте, а некогда. Што бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить?.. За реку нужней.

— Верно,— сказал Федор.— Да я и не о том... Что

обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда! — отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце цигарку.

— Это вы уж слишком,— недоверчиво возразил Федор,— слишком... Моменты бывают — неправда, их только ловить надо уметь...

— А попробуйте с ребятами-то нашими,— усмехнулся Буров.

— Это иной вопрос...

— Да што иной... попробуйте,— как бы донимал тот Клычкова.— Оно тово, скажу вам, очень тово...

И он знаменательно поднял палец вверх, как будто загануⅼ загадку и ждал разрешения.

— Трудно? — спросил Федор участливо.

Тот молча наклонил голову, а потом брякнул:

— Не только трудно — нельзя! Совсем нельзя! Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем... Когда войну кончим, тогда и книжки, вот што...

— Так вот тут-то ваша задача и начинается,— не дал ему докончить Клычков.— Комиссар как раз должен убедить в другом: должен убедить, что без политики воевать нельзя... Что же за армия будет, коли не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти. Не верю, что нельзя. Попробуйте. В будущий раз сами сознаетесь, что можно. Только расшевелите всех тут — полковых комиссаров, ячейки... Да и сам... От вас ой как много зависит...

— Я-то — видите,— он показал на мокрую, забрызганную грязью тужурку.

— Не только,— отмахнулся серьезно Федор.— Этого мало. Тут-то как раз ваша разница с командиром и начинается. Ведь получается впечатление, что вы — лишь вояка хороший, а больше и ничего...

— Им главное это,— убеждал комиссар.— Как с ними не будешь — фью! Зачем ты им нужен? Говорить говоришь, а сам, говорят, не делаешь. Сам, говорят...

— Да погодите, погодите,— остановил его Федор.— Снова повторяю: надо... Но не одно это надо, не одно... Кто же, кроме нас, армию-то просвещать будет? Поймите, что мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным...

И он стал доказывать Бурову необходимость и возможность ведения политической работы даже в самой сложной обстановке.

Тот не протестовал больше, но видно было, что результатов больших на этой задаче от него не будет. Командир? Да, командиром он будет отличным.

Через короткое время этому товарищу дали командную должность, а комиссаром на его место назначили другого.

Закончили разговор, подошли к столу. Елань рассказывал вчерашний случай:

— Человек пятнадцать... Одеты как полагается, а отличий нет никаких: солдаты и солдаты. Только у командира звезда была красная, так в карман убрал. Приехали в деревню — к совету: где председатель? А мужиков тут с полсотни набралось, шепчутся чего-то, в сторону норовят, боятся...

«Вы колчаки, што ли, солдатики?» — спрашивают.

«Колчаки», говорят ребята: прикинуться задумали, посмотреть, что из этого выйдет.

«А сюда пошто? Воюете?»

«Воюем, братцы, да красных вот ищем: где они тут, кому известно?»

И стали мужиков расспрашивать, какие, дескать, тут воинские части у красных да где они находятся, куда идут, как обращаются с крестьянами...

А те и слова путного не говорят.

«Вот Иван Парфеныч пускай расскажет, он у нас знает все — в председателях сидит...»

Иван Парфеныч показался в дверях, этак пудов на одиннадцать мужчина...— обвел рассказчик руками вокруг живота, показывая, какая была солидность у Ивана Парфеныча.

Все рассмеялись.

— Да-да, — подтвердил Елань. — Тут по советам сколько угодно таких встретишь. Не рассмотрели еще мужики, в чем дело, да и робеют. Так, сволочь разную иной и выберут...

Так вот, спускается с крылечка. Даже и глазом не моргнул, не оробел Иван-то Парфеныч, шествует к «колчакам» за мое почтение, кланяется от самой двери, руку под козырек берет, улыбается.

«Здравия,— говорит,— желаю».

«Ты председатель?» — спрашивают ребята.

«Так точно,— говорит и опять смеется.— Посадили вон,— говорит,— и сижу... Ждали вас, родных, на той неделе... Вот... слава богу, пришли — всю душу-то размотали...»

А ребята как будто не верят, значит.

«Да что ты, дескать, нам дуру-то навертываешь,— рассказывай дело: где ваши?»

«Какие это наши?» — вытаращил глаза председатель.

«Ну, што — какие: красные где? Рассказывай».

Тут председатель в ноги, оправдываться, свидетелей троих из толпы-то (пудов по восемь); те за него:

«Да где же, мол... Иван Парфеныч — человек положительный, он никогда с этими не связывался, мужики его заставили в совет залезть».

Ребята с коней, зашли в совет, написали все его показания, дали подписать: хотим, говорят, господам офицерам материалы привезти...

Все подписал. Тут его с тремя-то защитниками на повозку, да и сюда. Как понял, так и завыл: «Я христом-богом,— говорит,— сам в большевиках состою...». А мужики перепугались — говорить не знают што... Совсем оробел народ,— махнул рукой Елань в заключение рассказа.

— А где теперь? — спросил Федор.

— Всех четырех в трибунал послали... Што народ у фронта с толку сбился, это верно: на неделе по четыре раза встречали и белых и красных, спутались, кто первым приходил, кто последним, кто обижал крепко, а кто и не трогал... Лошадей што поугнали — и не счесть, а телег поломано, сараев сожжено, посуды разбито, растащено — лучше и не помнить. Со скотиной, положим, крестьяне узнали, как спасаться: загонят в чащу лесную целые табуны, да так и не выводят оттуда, корм по ночам таскают. А солдаты придут:

«Лошади где, коровы?»

«Всех угнали... подчистую».

«Кто угнал?»

Тут ежели белым — так на красных говорят, а красным — на белых. Сходило. Но не всегда и тут сходило: дознаваться потом стали, разведку по лесам пускали... Отыщут табун — пригонят, а деревня — реветь... Только что же слезы поделают, когда и кровь нипочем?!

* * *

На самом берегу Боровки, в деревне, остановился Михайлов со своим полком. Сюда проехать было можно только берегом, а с той стороны, из-за сырта [1], где лежали неприятельские цепи, шла непрерывная пальба: как завидят — и пошла, и пошла... До деревни оставалось уже совсем недалеко... видны были овины, когда неприятель усилил огонь... Зазвенели торопливые пули, одному из спутников пробило ногу. Ударили по коням — в карьер!.. Разбились гуськом, один от другого шагах в двадцати. Федору вспомнилось, как он спасался в сломихинском бою, и сразу почувствовал перемену: теперь уже не было того панического страха, как тогда... Пусть там разрывы, здесь — пули; и пули бывают страшнее снарядов. Все страшно по-своему: «Пуля — для тела, шрапнель — для души». Он скакал и никак не верил, не допускал, что пуля может задеть и его. «Соседа — конечно... может... а меня — едва ли...» Отчего были такие мысли, и сам не знал.

На скаку поранило двух лошадей, одному из ординарцев пробило шапку... Спрятались за высокие стога сена, спешились, один за другим от стога к стогу, от овина к овину начали перебегать в деревню. Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем, и к штабу явился последним...

Федор любопытствовал:

— Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином-то, словно трус, мотался.

— Пулю шальную не люблю,— серьезно ответил Чапаев.— Ненавижу... Глупой смерти не хочу! В бою — давай, там можно... а тут...

И он плюнул энергично и зло.

К штабу было пройти нелегко: деревня обстреливалась с высокого заречного сырта. Как только заметят кого в прогоне меж домами, так и жарят по этому месту чуть

---

[1] Сырт — холм, небольшая гора.

не целыми пачками. Красноармейцы тоже в обиду не дают-ся: залезли на овины, попрятались на крышах, за плетнями, понаделали дырок в стенах у сараев — наблюдают зорко, что делается на том берегу. И лишь зачернеет, запрыгает фигурка или голова где-нибудь высунется за бугром, открывают огонь. Тут идет не сражение, а настоящая взаимная охота, огонь по «случайной цели». И — удивительное дело — по деревне гуляют девушки в праздничных цветистых костюмах, местами песни поют, забавляются... Ребята тоже не зевают — вьются возле них, подпевают, а один так и с гармоникой подсыпается.

Надо сказать, что река тут неширока и из-за сырта видно — боец идет или крестьянин, девушка ли подпрыгивает... Пальба в переулках шла только по красноармейцам. Крестьяне ходили как ни в чем не бывало — спокойные, неторопливые... И если бы не перестрелка, трудно было подумать, глядя на них, что кругом ежесекундно витает смерть: деревня будто где-то в глубочайшем тылу и в совершенном покое справляла свою традиционную пасху...

Михайлову хотели посоветовать, чтобы разведку сделал через реку, а он ее, оказалось, услал еще поутру, ждет теперь с минуты на минуту. Разведка действительно вернулась скоро; двоих похоронила на том берегу — убили их в последние минуты, когда уже спускались к броду. На фронте редко что дается даром! Сообщение выслушали, держали совет и порешили ночью же сделать налет. Знали, что брод этот будет охраняться,— надо было засветло искать другой. Операцией Михайлов брался руководить самолично. Надежд на успех было много, и главная надежда заключалась в том, что белые части уже наполовину были подготовлены, сагитированы заранее. Своеобразная агитация эта производилась простым и оригинальным способом: человек десять коммунистов выползают на животах почти до средины деревни и пробираются через те самые пролеты, в которые обстреливаются в деревне красноармейцы. Ползут и ползут, не подымая головы, не колыхаясь, не извиваясь в стороны, медленно и все в одном направлении. Доберутся до тына — здесь дыры еще ночью проделаны, устремляются в эти дыры и сползают к берегу. Перед самым тыном происходит небольшая маскировка,

а иные проделывают ее и раньше, чем выползут, в деревне. Маскировка тоже незамысловатая: одному сучочков, палочек, елочек понатыкают, навешают со всех сторон, тряпок ли набросают, чтобы на человека не был похож. Такое-то безобразное существо и движется к воде. Бывает, сена набросают, соломой осыплют, рогожей накроют: всяк молодец — на свой образец... Десяток или полтора этаких чудовищ выползают на берег с разных концов и, прижимаясь то к бугоркам, то к кустарникам, к прибрежным всяким укрытиям, выравниваются вдруг и начинают кричать:

— Солдаты! Белые солдаты! Товарищи! Бейте офицеров! Переходите на нашу сторону!.. Вас обманули!.. Крестьян на крестьян не гонят. Офицеры — господа... Они вам враги, мы ваши братья. Переходите, товарищи! Бейте офицеров! Переходите!..

Река тут неширока, с берега на берег слышно отлично, а особенно звучно слышно по росе: выползают агитаторы, конечно, в сумерках — в вечерних или утренних, когда их продвижение не особенно заметно... Офицеры с той стороны посылали площадную брань,— уж так измывались, так измывались, что слов поганых не находили для проповедников-большевиков. Открывали и стрельбу, но куда же, в кого тут будешь стрелять — не видно нигде никого.

Ругаться ругались, а части на берегу все-таки подолгу оставлять боялись, меняли то и знай, все время были в перепуге, ждали каких-то страхов у себя изнутри... Белые солдаты близко к сердцу принимали убедительные, простые слова, что доносились к ним из-за реки, и — говорили потом — не один десяток был расстрелян офицерами за подслушанные солдатские речи про «братьев-большевиков». Шпионская работа у белых чем дальше, тем больше развивалась и среди солдат; крестьяне начинали там понимать драматическое свое положение, когда их понуждали, гнали бороться против своего же дела, против своего же брата трудящегося. Все это в очень значительной степени облегчало борьбу красноармейских полков. А работа агитаторов и вконец разлагала белые части. Попалят-попалят офицеры — бросят, а агитаторы так же медленно, тихо, без колыханий отползают обратно в деревню.

Вечером иакаиуне предполагавшегося иочного иалета агитация была проведеиа особеиио успешно: в отдельных местах белые солдаты, рискуя жизиью, даже перекликались с агитаторами, задавали разные вопросы, указывали на трудиости перехода, иа строгость надзора, иа жестокость расправ.

Ночью Михайлов с отборным отрядом направился осуществлять задуманиое дело.

На следующий деиь в бригадиый штаб пришла его телеграмма:

«Отобрав 200 человек, ночью, вброд, а частью по бревеичатому мосту, сделаниому иаспех, пробрался иа другой берег Боровки и виезапно атаковал спящего иеприятеля. Захвачеио в плеи свыше полутораста человек, четыре пулемета, винтовки, патроиы, кухии, обозы...»

— Забрал полтораста,— вслух сказал Чапаев,— так это забрал, а иа месте што осталось?.. Пиши! — обратился ои к штабиику, который составлял донесеиие об успехе: — «Забрал в плен полтораста и зарубнл иа месте двести».

— Слушай-ка, что же это? — нзумленно вскниул Федор на иего глаза.— Какне двестн?

— Не меньше,— ответил Чапаев, нисколько ие смутясь.

— Да какне двестн? Что ты, брат, выдумываешь?

— Ничего я не выдумываю,— обиделся Чапаев.— Если ему иевдомек, што же я — так и должен пропустить?

— Да писать-то подождн... Ну, запросим, что ли, добавочио пошлем, а теперь... это же выдумка, Василий Иваныч!

— Так што? — ухмыльнулся тот легкомыслеиио.— Повеселить иадо.

— Кого повеселнть? — протнвнлся Федор.— Что тут за веселье! Да узиают про эти иомера, тебе н верить-то никогда не стаиут.

— Не узнают,— опять отшутился было Чапаев.

Но Федор настоял, чтобы этн двести «мертвых душ» все-таки не включали, н Чапаев с горечью должен был согласиться.

* * *

Когда вернулись к себе в штаб, там поджидало распоряжеиие: «иемедлеиио выезжать», захватнв с собою

одно, другое, третье. Указывались место и цель: переброска в другую армию. За время перехода перебросок этих было несколько: туда-сюда сунут, глядишь — бригаду оторвут, опять соединят,— словом, как полагается, как диктовала обстановка. Чапаев обычно негодовал и крепко бранился при всех этих перетасовках, считая их не то случайностью, не то проявлением злой воли каких-то «недоброжелателей». Удивительно просты были у него мысли в таких случаях, даже иной раз можно было принять их за шутку, если б не были они сказаны и обставлены так серьезно. В новой обстановке, по существу, ничто не было ново, да и ехать-то было уж не так далеко. Армии тогда стояли тесно, шли непрерывным фронтом. Успех и неудачи в одной чутко сказывались в другой. Сведения разносились быстро; эти сведения то наводили уныние, то окрыляли надеждами. Особую радость выказал Чапаев, когда прослышал об успехе бригады Еланя.

— Молодец, не зря учен,— торжествующе заявил он в штабе по адресу Еланя и тут же послал телеграмму, где между деловыми фразами выражал свою радость: голые приветственные телеграммы посылать не полагалось.

Наступление развивалось успешно. Заняли целый ряд пунктов, больших и малых. По фронту метались, как угорелые,— всюду надо было поспеть, указать, помочь, предупредить, а временами и участвовать лично в бою. Один из таких боевых эпизодов Федор занес в свою книжку под названием «Пилюгинский бой». Приводим полностью этот очерк.

ПИЛЮГИНСКИЙ БОЙ

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Мы выступили из Архангельского рано, на заре, когда еще солнце не согрело землю. На лугу пахло ночной сыростью, а в воздухе стояла напряженная предутренняя тишина. Один за другим выходили в просторное поле наши полки, выстраивались и молча, без криков, без песен, без шума, двигались к высокому сырту, заслонявшему

ближние деревни. По всем направлениям разбросаны были передовые группы; конная разведка умчалась вперед и скоро пропала из виду. Мы ехали перед полками — Чапаев, командир бригады и я,— то и дело рассылая вестовых или с полученными новыми сведениями, или за свежим материалом. Слева, из-за другого сырта, раздавалась глухая артиллерийская пальба — это за Кинелем; там должна продвигаться наша бригада, получившая задачу выйти неприятелю в тыл и отрезать отступление, когда мы его погоним из Пилюгина. Кто палит — не разобрать, где-то далеко, верст за двадцать, двадцать пять; это лишь по заре четко доносятся глухие орудийные удары — днем они не были бы так явственно слышны.

Внезапным ударом в тыл предполагалось создать панику в неприятельских рядах и, пользуясь замешательством, отнять артиллерию, про которую донесла разведка. Пальба за рекой давала понять, что неприятель и заметил и верно понял наш маневр. Шансы на успех понижались.

Выехали на косогор. Внизу — крошечная деревушка Скобелево; отсюда поведем наступление на Пилюгино. Прискакала разведка, сообщила, что Скобелево оставлено неприятелем еще накануне вечером. Подошли к деревне. Крестьяне жались около хат и робко посматривали на входившие войска.

— Сегодня белые, завтра красные,— причитали они,— потом опять белые, потом красные — не видим краю... И хлеб-то у нас поели и скотину забрали, обездолили кругом...

Потом почесывали затылки и с философской примиренностью добавляли:

— Оно, што же говорить, война... понимаем — жаловаться не на кого. Да трудно стало, силы нет... И когда она только окончится, проклятая? Чай бы, отдохнуть надо.

— Когда победим,— отвечали им.— Раньше никак не окончить.

— Это когда же? — смотрели они усталыми, стеклянными глазами.

— А сами не знаем. Вот помогайте — скорее пойдет... Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, Колчаку-то?

— Где устоять!..— соглашались мужики.

— Значит, помогать надо...

— И помогать надо,— соглашались они дальше.— Пойди-ка, помогай. Ты ему помог, ан вы деревнюшку и заняли... Только за вас тронулся, а он ее назад отберет, тут и гляди, как тебя с двух сторон подбивать начнут. Наше-то Скобелево насмотрелось всякого: и ваших бывало много, и гоняли тут нас не однинажды... Так по подвалам-то оно складнее — ни туда, ни сюда...

Мы объяснили мужикам на ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что — власть Советов. Понимали, соглашались, но видно было, что толковали с ними на эти темы редко и мало.

Знать они путем ничего не знали и крутили разговор только около «покоя».

Так не везде случалось — лишь по глухому захолустью, по таким дырам, как Скобелево. В больших селах, там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов: с приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала; с приходом красных торжество было на стороне других, и они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов...

Части проходили деревней, одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались по лугу, выстраивались цепями. Из Пилюгина открыли по лугу артиллерийский обстрел...

Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой, жидкой ленточкой выстраивались другие, кучки пропали, растаяли, верный прицел взять было крайне трудно — результаты обстрела были самые ничтожные.

Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая, больная хозяюшка притащила кринку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне... Когда стали отдавать за молоко деньги — отказывается, не берет.

«Я,— говорит,— и так проживу, а вам кто е знает, сколько воевать придется».

Так и не взяла. Деньги мы сунули ребятишкам; они жались около матери, цеплялись ей за подол, как зверенышн, поглядывали блестящими глазенками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами.

— Вы-то платите,— заметила хозяйка.— Хоть и не надо мне, а ладно... Сена ли, овса, за все отдают... А те — обглодали начисто, хоть бы тебе соломинку заплатили... И Ванюшку, сына, с лошадью погнали... Вернется ли, один бог знает...

В ее голосе, в манерах не было подобострастия — говорила правду. Хоть не всегда, не везде расплачивались наши — не знала она того, а про «колчаков» в каждом селе, в каждой деревнюшке одно и то же: обдирают, не платят, растаскивают начисто...

Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды в двухстах—трехстах саженях. Здесь и там одно за другим непрестанно появляются над землей маленькие облака густого черного дыма, и за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясется земля, как бубенчики, заливаются стекла в окнах халуп. Неприятель бьет по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов,— перелеты на многие десятки саженей... Мы задерживаемся, ждем свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить ее в дело. Выхожу из халупы, забрался на пригорок, лежу. Вдруг прибегает женщина. Оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, сует:

— На-ка, на, скорее.

Посмотрел — яйцо, и, не понимая, в чем дело, полный недоуменья, смотрю на нее широкими глазами.

— Сколько заплатить?

— И, што ты, родимый! — обиделась она.— Поди, заморился... Какие тут деньги, ешь-ка, знай...

Она торопилась, видно было и по речи и по движеньям: скажет и оглянется — заметят, дескать, деревенские, а белые придут — доложат, так беды не оберешься.

— Да што ты так-то? — спрашиваю.

— А братец с вами у меня... родной... заодно воюет... Тоже в Красной Армии состоит... Говорили, белые-то заколотили вас, Самару будто взяли, верно ли?..

— Нет, милая, неверно,— отвечаю.— Совсем неверно. Сама видишь, кто кого колотит.

— То-то вижу... Ну, будь живой, касатик...

И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб... А я сидел со странным, радостным, особенным чувством. Смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой, простой женщины. Есть у нас везде, думалось мне, даже и в такой дыре, Скобелеве, свои люди... Хоть и не понимают, может, многого, но инстинктом чувствуют, кто куда идет. Вот она, женщина-то, посмотри: ждала... дождалась... рада... и теперь не знает, чем доказать свою радость... яйцо сунула...

2. В ЦЕПИ

Пришла артиллерия, указали ей путь, и по лощине, натуживаясь и ныряя, потянули лошади тяжелые орудия. Мы видели, как остановились батареи сзади цепей, как мелькнул первый огонек: бббах... ббб...ах... Дальше — без перерыва. Цепи услышали свою артиллерию, пошли веселее... Мы сели на коней и в сопровождении ординарцев поскакали вперед. Выехали на гору — оттуда Пилюгино как на ладони: прямой дорогой тут не больше трех верст. По флангам, к цепям, разъехались в разные стороны: Чапаев — направо, я — налево.

— Товарищ,— обратился ко мне вестовой,— это чего там? Наши, гляди-ка, отступают, што ли, бегут... Сюда, надо быть?..

Я посмотрел. Действительно, какая-то суматоха — красноармейцы перебегают с места на место, цепь то сожмется, то растянется снова... Мы — туда. Разъяснилось дело очень просто: цепь перестраивалась и брала иное направление.

Поле здесь засеяно подсолнухами; с трудом пробирались мы между здоровенными колючими стволами. Добрались до первой линии, слезли с коней. Вестовой шел с нами шагах в тридцати, я сам прилег в цепь. По сторонам у меня лежали молодые ребята с загорелыми лицами, оба короткие, широкоплечие крепыши,— Сизов и Климов. В цепи, когда наступает она, тихо, не услышишь голоса человеческой речи — только команда рявкнет или кашлянет, отплюнет кто-нибудь да редко-редко кто обронит

случайное слово. Моменты эти глубоко содержательны: под огнем, в свисте и звоне пуль, каждый миг ожидая, что она пробьет тебе череп, ноги, грудь, не до слов, не до разговоров. Ты преисполнен сложных, быстро изменчивых, обычно неясных дум. Становишься сосредоточенным, молчаливым, почтн злым. Мысли путаются, хочется вспомнить разом как можно больше, как можно скорее — в один миг, чтобы ничего-ничего не забыть, не опустить... И кажется, что главного-то как раз и не вспомнил, а надо торопиться, спешить надо...

Перебежки одна за другой все чаще, все чаще... Ближе враг... Совсем близко... Еще минута — и перебежек не будет, за последней перебежкой — атака. Ради этого страшного момента, именно ради атаки, и торопишься теперь все разом, как можно скорее, вспомнить... Там — предел, черная бездна...

Я тихо опустился между бойцами. Они посторонились, посмотрели неопределенно мне в лицо, ни о чем не спросили — как лежали в молчании, так и остались... Полежав, помолчал и я, но стало тягостно от мертвящей тишины — вынул кисет, свернул цигарку, закурил...

— Хочешь, товарищ? — обратился к соседу.

Он поднял голову, как бы не поняв сразу и изумившись моему вопросу; еще больше удивился он тому, что вдруг, так вот неожиданно, услышал з д е с ь, т е п е р ь — человеческую речь. Подумал одно мгновение, и я увидал, как глаза его осветились, повеселели.

— И то дело, давай,— потянулся он за кисетом.— Эй, Сизяк,— обратился тут же к Сизову,— что землю жуешь? На-ка, лучше закури с нами...

Сизов так же медленно, как и Климов, приподнял голову и посмотрел на нас угрюмым, строгим взглядом, а потом завернул, закурил, стал и сам веселее... Разговора нет никакого, только бросаем отдельные слова: сыро... колется... потухло... вишь, летит...

— Перебежка!!! — раздалась команда.

Мигом вскочили. Разом, как резиновая, подпрыгнула вся цепь. Она не выпрямилась во весь рост, а так и застыла горбатая.

— Бегом!!! — раздалось в тот же момент.

Все кинулись бежать, далеко вперед себя выбрасывая винтовки... Бежал и я, согнувшись в дугу, неровным,

ковыляющнм бегом. Неприятель затарахтел пулеметами, заторопился ружейными залпами.

— Ложись! — раздалась тотчас же новая команда. Все ткнулись в землю. Как ткнулись, так несколько мгновеиий и лежали недвижно. Потом медленно зашевелились, стали приподымать головы, оглядываться. Кто ткнулся впереди, пятился теперь назад, чтобы сравняться, ткиувшиеся сзади подползали тихо, с ннзко прислоненными к земле головами — никто не хотел остаться в одиночку ни сзади, ни впереди.

Климов, бежавший быстрее и ткнувшийся впереди нас, пятился теперь, как рак, и еслн бы я не посторонился, прямо в лицо угодил бы мне огромной подошвой американской штиблетины...

Лежнм — молчим. Ожидаем новой команды. Уже больше не пытаемся курить, нет даже и отдельных, отрывчатых слов. Климов с Сизовым рядом. Видно, вспомнилось Климову, как несколько миiут назад сделалось ему легче в разговоре,— слышу, начинает заговаривать с Сизовым:

— Сизов...

— Чего тебе?

— Букарашка, видишь,— и тычет пальцем в траву. Сизов ему ни слова: угрюм, насупился, молчит...

— Сизов,— пристает он снова.

— Да ну, што? — бросает тот с неохотой.

Климов и сам ничего не ответил, вздохнул н потом, как бы собравшись с мыслями, тихо сказал:

— Любаиьку-то отдали в Пронино...

Видно, вспомннл односельчанку, а может, и зазноба какая, кто его знает. И на этот раз ни слова не ответил ему Сизов. Поннмая безнадежность, умолк Климов, а со мной, видно, охоты не было говорить; растянулся еще плотнее по земле и начал водить пальцем по ранней жидкой траве — то букарашку раздавит н смотрит, как она в конвульсиях кончается на его грязном широком пальце, то земли бугорок сковырнет, возьмет ее между пальцами и сыплет, все сыплет по песчинке, пока не высыплется вся...

— Перебежка!.. Бегом!!!

Ретиво вскакиваем, бежим вперед с безумным взглядом, с перекошеннымн лицами, с широко раздутымн,

горящими ноздрями. И ждем. Бежим и ждем, бежим и ждем... желанную команду: «Ложись!»

Падали мертвыми, окостенелыми телами, замирали, подбирались, втягивались в себя, как черепахи, а потом медленно-медленно отходили, начинали двигаться, нетвердым, опасливым взором глядеть по сторонам.

Тут же Маруся Рябинина, девятнадцатилетняя девушка, тоже с винтовкой, шагает гордо, не хочет отстать. Она не знала, дорогой наш друг, что через несколько дней у Заглядина, так же как теперь, пойдет она в наступление вброд через реку, одна из первых кинется в атаку — и прямо в лоб насмерть поразит ее вражеская пуля, и упадет Маруся и поплывет теплым трупом по окровавленным холодным волнам Кинеля... Теперь она тоже улыбалась, что-то мне кричала дружеское, но не разобрал издалека...

Земляков своих я не видел уже два месяца и не успел даже того узнать, что Никита Лопарь и Бочкин — здесь же, в полку, перебрались из уральских частей, соскучились воевать по другим полкам.

Терентия так и не увидал я на этот раз.

Лопарь с другого конца болотины махал коммунаркой и тряс огромными рыжими кудрями...

Всё знакомые, дорогие лица... Но некогда было ждать — до овинов оставалась всего сотня сажен. Каждую секунду можно ждать, что оттуда встретят внезапным огнем. Это любимый на фронте прием: замереть, притаиться, нацелить дула и пустить неприятеля близко-близко, а потом вдруг — пулеметы, и залп за залпом бить жестоко и непрерывно, рядами, грудами наложить перед собою человеческие тела, видеть, как дрогнул враг, попятился, помчался вспять, и бить, бить его вдогонку, а пожалуй, и бросить на него спрятанную где-нибудь тут же кавалерию — добивать, рубить бегущего, растерявшегося, обезумевшего в смертельном испуге врага.

Мы были готовы ко всему. Вдруг справа — два коротких залпа, за ними тотчас же быстро-быстро заработал пулемет. Вестовой поскакал узнать, в чем дело; через две минуты сообщил, что это наши на правом фланге вызывают неприятеля на ответ. Но ответа не было. Можно было предположить, что селение очищено, но, наученные горьким опытом, тихо, осторожно, ощупью двигались на

овины наши цепи. Несколько человек пулеметчиков, а с ними бойцы подхватили пулемет, подбежали к одному из ближних овинов, приладили его быстро к бою, приготовились стрелять. Но тихо... На правом фланге издалека, глухо прокатилось «ура» — это наши пошли в атаку, захватив почти без боя всю группу неприятеля, что оставлена была там на охрану села. Из-за горы с левой стороны прогремели один за другим три орудийных выстрела... Грохот и вой ослабевали, постепенно замирали, были слышны только удары, от разрывов доносилось лишь чуть слышное эхо — значит, не по Пилюгину это, а сам неприятель бьет куда-то в сторону. Он бил по тем частям, которые двигались с крайнего левого фланга ему в охват; он переносил туда артиллерийский огонь, быстро отступал и против нас оставил лишь небольшие части,— так узнали потом, а теперь многое было все еще неясно, и можно было ждать всякого оборота и результата делу. Когда пулеметчики пристроились у овина, мы с командиром батальона приблизились, чтобы узнать, не увидели ли, не заметили ли чего-нибудь на гумнах; но там по-прежнему тихо, никто не показывается — ни из белых, ни из жителей, словно мертвое стало пустое село. Осторожно оглядываясь кругом, засматривая к стогам, за овины и сараи, медленно пробираемся вперед. Ни звука, ни шороха, ни слова, ни выстрела — в такой тишине куда страшней, чем под выстрелами. Тишина на фронте — ужасная, мучительная вещь.

Сзади нас, неподалеку, шли иваново-вознесенцы — их красные звезды уже здесь и там мелькали среди овинов и стогов сена. Это движение, торопливое, неровное, неуверенное, происходило в могильной тишине, в ежесекундном ожидании внезапного огня...

Вдали мелькнула женская фигура: знать, крестьянка. Надо скорей разузнать...

Рысью — туда...

3. ВСТУПЛЕНИЕ

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся, мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только что

пережитого страдания, в нем отразились недоумение и напряженный, мучительный вопрос, ожидание новой неминуемой беды, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. «Скоро ли?» — спрашивал этот усталый взгляд, и, верно, не в первый раз и не столько на меня смотрела она, такая измученная, и спрашивала: «Скоро ли?» Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое столь же измученное, серое, полумертвое лицо женщины: под глазами повисли иссиня-багровые мешки, губы высохли, выбились волосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор.

— Белые здесь аль ушли? — спрашиваю их.

— Ушли, убежали, родной,— ответила та, что выглядывала из погреба.— Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной? Стрелять будете еще?

— Нет, нет, не будем, вылезайте...

И одна за другой стали показываться из погреба женщины, только они,— мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки; этих закутали одеялами, рогожами, мешками — знать, думали, что мучной мешочек спасет их от шрапнели... Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка — надо быть, на ней спускали его в погреб.

Когда все выползли вереницей, один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, заковыляли они к своим халупам. Большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полные испуга, замученные своим страхом, закоченевшие в сыром, холодном погребе!

На углу толпится кучка крестьян; они тоже еще не понимают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням...

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул им.

— Здорово... Здравствуй, товарищ! — дружно ответили они.— Дождались, слава богу...

Не знаю я, верить ли этим приветственным словам. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали,— из робости, от испуга. Но посмотрел на лица —

и вижу настоящую неподдельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить ее на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно.

Мы тронулись на середииу деревни.

Там новая толпа, ио видно, что уж это не крестьяне.

— Вы што, ребята, пленные, што ли?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, што ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот, человек тридцать, а то попрятались по сараям. Да вои из огородов бегут.

— Так, значит, остались?

— Так точно, сами.

— А оружие где?

— Сложили вот там, у забора.

Подъехал, посмотрел: куча виитовок. Сейчас же к оружию, к пленным наставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии.

Пленные выглядели жалко, одеты были сквериейше — кто в шубеику какую-то, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки; обуты тоже скверио — ииые в валеиках, в лаптях, и все это изодраио до последией степени. Оии нисколько не были похожи иа войско — просто толпа оборванцев. Являлось недоумение: отчего бы это оии так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром снабжаются изрядно?

— Что это,— спрашиваю,— ребята, больио плохо одел вас Колчак-то? Неужто всех так?

— Нет, это иас только.

— За что так?

— А все ие шли... Убегло наших миого — кто обратно к себе, а кто в Красную Армию...

— Зиачит, не добром к Колчаку шли?

— А на что он нам? Своих-то одел с позументами, а иас, смотрите,— вот...— И они показывали свои дыры и лохмотья.— Да все вперед гиал, под самые выстрелы: таких, говорит, и жалеть нечего.

— А вот вы бежали бы давно...

— Так нельзя бежать-то: сзади иас ои своих поставил — эти ие воевали, а только смотрели, чтобы ие убегнуть...

— Ну, а теперь как же удалось?

— Да вои все в огородах... Между грядами... Полегли и ждали. А потом вышли.

— Куда же теперь: служить в Красиой Армии у иас стаиете?

— Так точно, затем и остались, чтобы в Красиой Армии. Куда же нам? Того и хотим.

Разговор иа этом окоичили.

Вдоль по селу мы поскакали к горе в ту сторону, куда убежал иеприятель. Части иаши, видио было, уже карабкались по откосу, сгрудились иа мосточке, переходили по песчаиому крутому скату.

— Миого ли тут белых-то было? — спрашиваю по дороге.

— Тыщу было...— отвечают крестьяие.

Но верить этим «тыщам» иикогда сразу ие следует; иной раз «тыща» превращается в пять-шесть тысяч, а то и просто в двести человек. Только потом, сравиив десятки сведеиий и показаиия плеиных, можио приблизительио точно установить цифру. Во всяком случае, судя по обозам, войска здесь было достаточио. Недолго и ие так упорио, как обычио, держался в Пилюгиие иеприятель, верно, потому, что заметили и опасался обходиого движения иа левом флаиге.

— Давно ли белые убежали?

— Да иедавио,— отвечали крестьяие.— Вот только-только перед вами. Надо быть, и по горе-то иедалеко ушли.

Но усталые иаши части ие могли преследовать, разве только кавалерию можио было пустить для испытаиия, ио кавалерии было мало, иадежды ие было и иа иее.

Те, что ушли вперед и забрались иа гору, все еще ие теряли иадежды захватить иеприятельские обозы. Но захватить удалось лишь иебольшую оставшуюся часть — главиый обоз давио и далеко ушел вперед.

Пилюгино расположеио под горой. Гора крутая и обрывистая. Перебравшись через мост, лишь с большим трудом можио было подияться на вершииу. Тут в горячке

произошла драматическая случайиость: передовые части, поднимавшиеся прямо по откосу, как только выскочили иа вершину, заметили иа другом коице ползущие цепи. Открыли огоиь. Им ответили. Завязалась перестрелка: это свои ие узиали своих. Двое убито, пять человек пораиеио. Оиа бы окоичилась еще тяжелей, если бы вовремя ие поиял обстаиовку комаидир того полка, что выходил из-за горы, с левой стороиы; ои самоотвержеиио, рискуя жизиью, махая в воздухе платком и шапкой, бросился по полю иавстречу стрелявшим, добежал и разъясиил, в чем дело.

Когда мы иа горе увидели человек шестьдесят кавалеристов, спешившихся возле потиых взмылеииых коией, приказали им разбиться иа две группы: одиой иалево— разузиать, нет ли каких призиаков, что там идут иаши обходиые части, другую половииу услали иа правую стороиу, куда ушли иеприятельские обозы. Связи с обходиыми частями так и ие устаиовили — там оказалось что-то вроде предательства, и иесколько человек пришлось арестовать, передать дело трибуиалу. Но теперь мы иичего ие предполагали и продолжали иадеяться, что даже иебольшими ударами можио добиться результатов, как только в тылу у иеприятеля появятся иаши полки.

Но полки эти ие появились, и иеприятель отступил спокойио, безиаказаиио, с обозами. Разведчики, что услаиы были направо, как только отъехали сажеи триста, были жарко обстреляиы отступавшими цепями, выиуждены были спуститься в овраг и дальше двигаться кустарииком.

На тачаике забрался в гору первый пулеметчик — я его взял с собой,— и поехали туда, вперед, где видиы были колыхающиеся иеприятельские цепи. Оии отступали по ровиой поляие, шли к лесу, заметио торопились, видимо ожидая преследоваиия иашей кавалерии, ие зиая того, что кавалерии у иас почти иет. Сами мы, коиечио, поделать иичего ие могли, ио все еще была какая-то смутиая иадежда, что вот-вот в иеприятельском тылу раздадутся первые выстрелы,— тогда отсюда даже и своим пулеметом можио крепко усилить паиику, деморализовать врага окоичательио и отиять обоз... Все ожидаиия были иапрасиы. По пятам отступающих двигались мы версты полторы: разведка справа, а мы иа горе — иепрерывио обстреливали

отступавших. Они отвечали и всё пятились к лесу, пока не исчезли. Мы ни с чем воротились назад.

По горе залег Иваново-Вознесенский полк. Когда мы с пулеметчиком стали приближаться, заметили, как несколько человек, положив винтовки на колено, прицеливались по нас и ждали, когда подъедем ближе. Я громко закричал, что едут свои, замахал платком — предотвратил новую беду. Несколько человек поднялись нам навстречу и, когда меня узнали, покачивали головами, ахали, бранили себя за оплошность. Мы спустились с горы и въехали в село.

Здесь я встретился с Чапаевым — он объезжал части. В той атаке, что была перед овином, он участвовал лично и оттуда же вошел в село. Повернув коня, я поехал вместе с ним обратно в гору.

* * *

Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь не дичились они, не робели, а молодежь так даже и совсем раззадорилась. Девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даешься.

Посмотри-ка и теперь.

На горе залегла наша цепь; где-то тут в лесу, совсем неподалеку, отступают неприятельские войска; не рассеялся еще в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уж манит гармоника, и на зов ее собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки... Тут скоро пойдет плясовая — без этого не обойтись...

Потому еще здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей или насилий — не было ни единого случая даже самых мелких оскорблений и перебранки: именно, *как товарищи пришли к товарищам*, полные уважения, взаимной духовной близости.

Огромному большинству не досталось места в избушке — пришлось раскинуться бивуаком на площади у обозов.

Отыскали получше, попросторней халупу; сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел дивизии —

он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, заголосили телефоны. Скоро тут появился самоварчик. За столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. Перебивали, недоговаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать — рассказывать хотел, так как он сам был полон не остывшими еще переживаниями. Усталости как не бывало. Так за разговорами, за шумом прошло с полчаса.

Вдруг — громовой удар, за ним другой, третий... Мы переглянулись, повскакали в недоумении из-за стола — и прямо к двери. Может быть, бомбу кто-нибудь обронил? Но тут рядом три разрыва... Если артиллерия?.. Но откуда же ей быть?

В это время мелькнул ружейный выстрел, за ним еще, еще, еще — поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряный лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца...

Скоро все успокоилось и приняло свой недавний вид... Уж дрожали сумерки, а за ними легко спустилась покойная звездная весенняя ночь. Тихо на селе. Ничто не напоминает о том, что только недавно закончился бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная, жадная смерть. А завтра, чуть подымется солнце, мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью.

«Ну, а сегодня как? — задаешь себе каждый день поутру тяжелый, мучительный вопрос.— Кто останется жив? Кто уйдет? С кем выступать будем в завтрашнюю зорю, с кем никогда-никогда не увижусь... после сегодняшнего боя? А впереди еще бесконечные походы, ежедневные ожесточенные бои... Весна... Начало... Колчак дрогнул лишь в первых рядах, а сокрушить надо всю огромную стотысячную массу. Как это дорого обойдется! Как много будет к осени жертв, как многих недосчитаемся вот из этих из товарищей, что идут теперь со мною!»

* * *

После этого столь подробно описанного боя открыт был путь к Бугуруслану. Как и большинство городов — не только в этих боях, но и вообще за всю гражданскую войну,— Бугуруслан был взят обходным движением. На улицах больших городов бои случались редко. Главный бой, «последний и решающий», обычно разгорался непосредственно на городских подступах, и когда он, бой этот, был неудачен для обороняющихся, неудачник обычно уходил, оставляя самый город без боя в руки победителю. Так было и с Бугурусланом.

X. ДО БЕЛЕБЕЯ

Чапаевская дивизия шла быстро вперед, так быстро, что другие части, отставая по важным и не важным причинам, своею медлительностью разрушали общий единый план комбинированного наступления. Выйдя далеко вперед и ударяя в лоб, она больше гнала, чем уничтожала неприятеля или захватывала в плен. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке и любом состоянии принять удар. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости — и вдруг завязывался бой. Усталости как не бывало: выдерживают натиск, сами развивают наступление, идут в атаку, преследуют... Но бывало и так, что ежедневные бои и переходы замаривали до окончательного изнеможения. Тогда на первом же привале бросались пластом и спали, как мертвые, часто без должной охраны, разом засыпали все — и командиры, и бойцы, и караулы...

По горам, по узким тропам, бродом переходя встречные реки — мосты неприятель взрывал отступая,— и в дождь

н в грязь, по утреиией росе и в вечериих тумаиах, деиь сытые, два голодиые, раздетые и обутые скверио, с иатертыми иогами, с болезиями, часто раиеиые, не оставляя строя, шли победоиосио оии от селения к селенню — иеудержимые, иепобедимые, терпеливые ко всему, гордые н твердые в сопротивлении, отважио смелые и страшиые в иатиске, иастойчивые в преследовании. Сражалнсь героями, умирали, как красиые рыцари, попадали в плеи н мучеииками гнбли под пыткой н истязаииями! С такой иадежиой силой иельзя было ие побеждать — надо было только уметь ею управлять. Чапаев этим даром управлеиия обладал в высокой степеин,— нмеиио управлеиия т а к о ю массой, в т а к о й момеит, в т а к о м ее состояиин, как тогда. Масса была геронческая, ио сырая; момент был драматический, и в пылу битв многое сходило с рук, прощалось, оправдывалось исключительиостью обстаиовки. Та масса была как иаэкзальтироваииая, ее состояиие ие передать в словах: то состояиие, думается, неповторяемо, ибо явилось оио в результате целого ряда событий — всяких событий, больших и малых, бывших раиее и сопутствовавших граждаиской войие. Волга вспять ие потечет, причииы эти назад не возвратятся, и состояние, т о состояиие, родиться не может виовь. Будут и о в ы е момеиты, и прекрасные и глубокие содержанием, ио это будут уже д р у г и е.

И Чапаевы былн только в те дии — в другие дии Чапаевых не бывает и не может быть: его родила т а масса, в т о т момеит и в т о м своем состояиии. Потому ои и мог так хорошо управлять «своею» дивизией. Как ои глубоко прав был, н сам того не понимая, когда называл славную 25-ю — с в о е ю, Чапаевской днвнзией!

В нем собралнсь н отразнлись, как в зеркале, осиовиые свойства полупартизаиских войск той поры — с беспредельиой удалью, решительиостью и выиослнвостью, с иеизбежиой жестокостью н суровыми нравами. Бойцы считали его олицетвореиием героизма, хотя, как видите, иичего пока нсключительио героического в действнях его не было: то, что делал лично ои, делали и миогие, но что делали эти миогие, и е з и а л и и к т о, а что делал Чапаев, з и а л и в с е, знали детальио, с прикрасами, с легеидарными подробностями, со сказочиым вымыслом. Он, Чапаев, в 1918 году был отличиым бойцом; в 1919-м ои уже ие славен

был как боец, он был героем-организатором. Но и организатором лишь в определенном, в условном смысле: он терпеть не мог «штабов», отчисляя к «штабам» этим все учреждения, которые воевали не штыком,— будь то отдел снабжения, комендатура ли, связь, что угодно. В его глазах воевал и побеждал только воин с винтовкой в руках. Штабы не любил он еще и потому, что мало в них понимал и организовать их по-настоящему никогда не умел; появляясь в штабе, он больше распекал, чем указывал, помогал и разъяснял.

Организатором он был лишь в том смысле, что самим собою — любимой и высокоавторитетной личностью — он связывал, сливал воедино свою дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции — например: «Не отступать!» — были священными для бойцов. Какие-нибудь разинцы, пугачевцы, домашкинцы, храня эти боевые традиции, выносили невероятные трудности, принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли: отступать полку Стеньки Разина — это значило опозорить невозвратно свое боевое героическое имя!

Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно!

Боевая страда — чапаевская стихия. Чуть затишье — и он томится, нервничает, скучает, полон тяжелых мыслей. А из конца в конец по фронту метаться — это его любимое дело. Бывало так, что и нужды острой нет, тогда сам себе выискивал повод и мчался на пятьдесят, семьдесят, сто верст... Приедет в одну бригаду, а в соседней узнают, что он тут, звонят: «Немедленно приезжай, имеется неотложное дело...». И скачет Чапаев туда. «Неотложного» дела, конечно, нет никакого,— друзьям-командирам просто охота посидеть, потолковать со своим вождем. Это именно они, чапаевские спутники, выносили и широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу. Без них он — да и всякий другой в этом же роде — никогда не будет так славен. Для громкой славы всегда бывает мало громких и славных дел — всегда необходимы глашатаи, слепо преданные люди, которые верили бы в твое величие, были бы им ослеплены, вдохновлены и в самом славословии тебе находили бы свою собственную радость...

Мы всегда склоины дать «герою» больше того, что он имеет в действительиости, и иаоборот — иедодаем кой-что заслуженному и порой исключительиому «рядовому».

Оии, чапаевцы, считали себя счастливыми уже потому, что были соучастиками Чапаева (ие испугаемся слова «героизм» — оио имеет все права на существоваиие, только надо зиать, что это за права); озарявшие его лучи славы отблесками падали и иа них.

В полку Стеиьки Разниа былн два героя, в боях потерявшие иогн; онн ползалн иа култышках, один кое-как пробирался на костылях,— и ни одии ие хотел оставить свой многославиый полк, каждый за счастье почитал, когда приезжавший Чапаев скажет с нним хоть бы несколько слов.

Оии ие былн пустой обузой полку — оба в боях работали на пулеметах.

Пройдут наши героические дин, н не поверят этому, сочтут за сказку, а действительио ведь было так, что два совершенио безногих бойца-красиоармейца работали в боях на пулеметах.

Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особеииыми, «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему иеувядаемую славу «героя», видишь, что качества у иего были самые обыкновеииые, самые «человеческие»; многих цениых качеств даже и вовсе не было, а те, что были, отличались только удивительиой какою-то свежестью, четкостью и остротой. Ои качествами своими умел владеть отлично: порождеииый сырой полупартнзаиской крестьянской массой, ои ее иаэлектризовывал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала оиа сама, и в цеитре ставнл себя!

Чапаевскую славу родили ие столько его героические дела, сколько сами окружающие его людн. Этим иисколько не умаляется колоссальиая роль, которую сыграл и сам Чапаев как личность в граждаиской войне, однако ж следует знать и помиить, что вокруг нмеии каждого из героев всегда больше легеидариого, чем нсторически реального. Но спросят: почему именно о н е м, о Чапаеве, создавались эти легеиды, почему нмеиио его имя пользовалось такой популяриостью?

Да потому, что ои п о л н е е м н о г н х в себе воплотил сырую и геройскую массу «своих» бойцов. В тон им пришелся своими поступкамн. Обладал качествамн этой

массы, особенно ею ценимыми и чтимыми,— личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки и так ему помогали это делать свои, близкие люди, что в результате от поступков его неизменно излучался аромат богатырства и чудесности. Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам.

* * *

Нет нужды описывать операцию за операцией, нет нужды распространяться об оперативных приказах, их достоинствах и ошибках, об успехах наших и о поражениях: этого будут касаться те, что дадут специально военные очерки. Мы же в очерке своем нисколько не претендуем на полноту изложения событий, на их точную последовательность, строгость дат, мест, имен... Мы исключительно даем зарисовки быта, родившегося той порой и для той поры характерного. Вот хотя бы и теперь, в пути до Белебея, не станем следить, как развертывались чисто военные операции, а приведем всего две-три бытовые картинки, которые тогда имели место.

* * *

За Бугурусланом, от селения Дмитровского на Татарский Кондыз, шла бригада Еланя. Здесь были ожесточенные бои. Отдавши Бугуруслан, неприятель все еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, что конец пришел его победоносному шествию, что теперь его будут гнать, а он — обороняться, отступать. Напрягся он силами, встретил крепкими ударами натиск красных полков. Но уже поздно — могучий дух уверенности в победе отлетел от белых армий, примчался к красноармейцам, дал им бодрость, заразил их той неутомимостью и отвагой, которые живы только при уверенности в победе.

Момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок — не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая словно нальется живительной таинственной влагой, подымется на дыбы, ощетинится, засверкает, станет грозна и прекрасна в своем неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнет, настолько выхворается, станет бескровным и вялым, что остается один конец — умереть. Внутренний долгий, изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью. Такого обреченного на неминуемую смерть, но все еще живого покойника представляла собою в бугурусланские дни еще так недавно могучая, непобедимая армия белого адмирала. История уже тогда приложила суровой рукой позорную печать бесславной смерти на ее низкий, преступный лоб.

А Красная Армия, такая упругая и сжатая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрик и заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек,— она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю, который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила.

Этим настроением полна была и Чапаевская дивизия, с этим настроением бригада Еланя била неприятеля под Русским и Татарским Кондызами.

В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях Еланя и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ. Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Елань, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами.

— Ну, коли так,— сказал Чапаев,— клятву зря не давай. Видишь эти горы? — И он из окна указал Еланю куда-то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений.— Бери их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!

— Идет! — засмеялся радостный Елань.

А дня через три после этих торжественных обещаний они едва не пострелялись. Федор Клычков, жестоко простуженный, лежал тогда в постели и вместо себя с Чапаевым отпускал в странствия по фронту своего Крайнюкова. И вот на третьей же поездке приключилась эта самая

«история», но больному Клычкову про нее ничего не рассказывали — к нему долетали лишь одни глухие слухи. Чапаев тоже молчал и сумрачно отнекивался, когда разговор подходил к той теме. Зато Елань рассказал все охотно и подробно, лишь только по выздоровлении Федор приехал к нему в штаб.

— Одна ошибка, товарищ Клычков, сущая ошибка,— рассказывал он Федору.— Оба мы немного недосмотрели за собой... глупость... словом, пустяки, и рассказывать бы не стоило... да ладно, сам люблю эти глупости вспоминать... Он ведь какой — огонь! Чего с него взять? Запалит да, того гляди, и сам сгорит... Досматривать надо, а тебя не было в то время. Этот мямля, заместитель, смеется, а в спор с ним не вступает, ну, и не каждого он слушает, Чапаев... Всему так быть, значит, и надо было, чтобы мы покуражились, только беды в этом ровно нет никакой! Как сейчас помню — устал я, аж ноги зудят! Сил нет никаких... Дай, думаю, засну, авось отойдет. Как ляпнулся, так и был, да нет! Васька-мальчишка,— ну, вестовой у меня, помнишь, жуликоватый такой — избушку у татарина раздобыл: мала, грязна, да и нет ничего, одна лавка по стене. Ткнулся я на лавку — сплю непробудным. А перед сном я Ваське наказал: «Чтобы курица наутро была готова. Понял?» — «Понял»,— говорит. И черт те што мне тогда и снилось... Будто самого Колчака вместо курицы вилкой ковыряю. Я его ковырну, а он наклонится... я его ковырну, а он припадет, да еще, собака, обернет голову и смеется... Такое меня зло взяло — как его тресну вилкой по башке, ан башка пополам, словно, выходит, и ударил я шашкой, а не вилкой. Схватил осколок, тычу-тычу ему в голову, а вместо головы получается телеграфный столб, и одна за другой, как галчата, на «Юзе» буковки скачут. Я понимаю, что это мне приказ дает Чапаев, а с приказом я не согласен был. Разбей, говорит, а преследовать будет другая бригада. Поди-ка, думаю, сам знаешь, куда: должен я буду за кровь-то отомстить или нет? Кто мне за сто человек заплатит, которых я на горе положил? «Кургин,— кричу,— приказ пиши...» У Кургина всегда бумага в руке, а карандаш за ухом. Несется почем зря. Я и оглянуться не успел, как он заголовок отчекрыжил. «Скажи,— говорю,— приказом: как только собью неприятеля, бить его надо и гнать пятнадцать верст! Понял?» Тоже, говорит, понял. Они с

Васькой все понимали у меня по голосу, да уж и стоили один другого. Знаю, что баня от Чапаева будет, а как ты делать станешь, когда он такую дыру проделал? Я вызывал его к проводу, объяснить все хотел, разговорить, а этот негодяй Плешков — он ведь начальником штаба в дивизии-то был — даже и не подозвал Чапаева: приказ, говорит, отдан, и разговоров быть ни о чем не может... Што ж тебе, думаю: не может, так не может, а у меня своя голова на плечах. Приказ Курга смастерил, я его подписал — заиграла музыка... Только знаю, что добром не пройдет — не любит Чапаев, когда у него приказы переделываются. Спал я, спал, смотрел разные сны, да как вдруг вскочу на лавке... Видишь ли, почти и солнце не взошло, сумерки... А Чапаев уж тут как тут — не вытерпел, всю ночь скакал.

«Ты што,— говорит,— сволочь?»

«Я не сволочь, товарищ Чапаев,— говорю,— вы это осторожнее...»

Он за револьвер.

«Застрелю!» — верезжит.

Да только к кобуре, а я свой уж вынул и докладываю:

«У меня пуля дослана, давай пульнемся...»

«Вон из комбригов! — кричит.— Я тебя сейчас же с должности сменю... Пиши рапорт — Михайлов будет замещать. Михайлова вместо тебя, а сам вон, вон! Это што за командир! Я говорю — с т о й, а они — бежать пятнадцать верст. Это што, што это такое, а? Это командир-то бригады, а?»

Уж вот крестил, вот крестил, а револьвер, одначе, так и не вынул, да и я свой убрал... Говорить тут нечего.

«Курга,— кричу,— приказ пиши!..»

Да и написал все как следует...

«Четырех гонцов немедленно...»

Подскакали.

«Вот пакеты Михайлову, неситесь, да живо у меня!»

Только и видели, улетели... Сидим — молчим... Буря прошла, слова-то все были сказаны. Я на лавке сижу, а Чапаеву сесть негде — стоит у стенки. Глаза синие, злые сделались, так и подсвечивают. Ничего, мол, отойдешь, соколик, притихнешь... А на этот момент, видишь ли, Васька голову в дверь высунул и пищит:

«Так что курица совсем готова...»

Ругаться — ругаться, а позвать надо.

«Товарищ Чапаев, пожалуйте,— говорю,— курицу кушать в сад».

Там садишко был такой небольшой.

«Хорошо»,— говорит.

Хоть, слышу, голос и неприветливый, а уж злобы и нет. Засмеялся бы, может, да стыдно...

Вышли в садишко, сели, молчим.

«Елань,— говорит,— останови гонцов».

«Нельзя их, товарищ Чапаев, остановить,— отвечаю.— Где же их остановишь, когда улетели?»

«А отрядить лучших!» — кричит и опять побагровел.

«Нет лучших — они самые лучшие...»

«А ты еще лучше самых лучших пошли! Не понимаешь, што ли, о чем я говорю?»

Как же не понимать — все понимаю. Да про себя молчу: дай, мол, щипну его, потому што отчего «сволочью» бранит?

«Зачем,— говорю,— сволочью ругаешься? Я свое самолюбие имею. Виноват, так суди, в трибунал отдай, расстреляют пусть, а ругать сволочью не смей...»

«Я по горячке,— говорит,— а ты не все тово...»

Ну, еще поседлали — теперь шестерых. Как рванули — птицами! Через час все воротились — тех выстрелами остановили.

Тут же все приказы эти драть, рвать — бросили...

«Не тронь,— говорит,— своего приказа, пускай гонют, приказы отменять не надо... А я сам переменю што надо...»

Тому и конец, больше нет ничего. Как съели курицу — ни одного слова худого друг дружке не сказали... У нас, товарищ Клычков, и все так,— закончил Елань.— Шумим, шумим, а потом чай усядемся пить да беседы разводить...

— Ну, и все? — спросил, усмехнувшись, Федор.

— А то чего! — осклабился Елань.— Только на обратном пути, когда я дело все сделал — и горы отнял, и в плен нагнал вот тех, что в дивизию на днях переправил,— едет опять.

«Здорово,— говорит,— Елань!»

А сам смеется, веселый.

«Здравствуй,— говорю,— Чапаев. Как твое здоровье?»

Ничего он не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза.

«На вот, бери,— говорит,— завоевал ты ее у меня».

Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало,— черную достал свою:

«На, мол, и меня помни!»

Ведь когда уж наобещает — слово сдержит, ты сам его знаешь.

На этом разговор прекратился — Еланя позвали на телефон, чего-то просили из полка. Да Федор и сам не возобновлял разговора,— видимо, все было сказало, что случилось тогда. Ничего серьезного. Ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная: как только она отвернулась, уж так и знай, переломают ноги себе и другим!

* * *

С боем вошел в Трифоновку и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспрашивать хозяина — тот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность, сами же красноармейцы взялись и просить «в случае чего» своего командира и комиссара, только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальнейших рассуждений повел их под навес и там на кучке навоза, чуть разбросав с макушки, указал на что-то окровавленное, бесформенное, грязно-багровое: «Вот!» Бойцы переглянулись недоуменно, подошли ближе и в этой бесформенной, залитой кровью массе узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два теплых трупа: красноармейцы.

Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука,— державшие вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз... и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь... Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный блеск говорил, что мысли уже не было... Весть о страшной находке облетела весь полк. Бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чем дело, все

терялись в догадках и предположениях. Крестьянину учинили допрос. Он не упирался, рассказал все, как было.

Два красноармейца, кашевары Интернационального полка, по ошибке попали сюда несколько часов назад, приняв Трифоновку, занятую белыми, за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыбежали сидевшие там казаки, с криком набросились на опешивших кашеваров, стащили на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали: куда и откуда они, справлялись, где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли, но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять.

— Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков.

— Ничего,— ответили пленные.

— А это што у вас тут на шапке-то, звезда? Советская власть сидит? На-ка, нацепили...

Красноармейцы стояли молча — видимо, чуяли недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали, не глумились, а теперь насчет «звезды» и брань поднялась и угрозы. Одного ткнули в бок:

— Кашу делал?

— Делал,— тихо ответил кашевар.

— Большевиков кормил?

— Всех кормил,— еще тише ответил тот.

— Всех?! — вскочил казак.— Знаем мы, как всех вы кормили. Всё разорили, везде напакостили...

Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь... Только этого и ждали, как сигнала: удар по лицу развязал всем руки, вид крови привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с места казаки начали колотить красноармейцев чем попало, сбили с ног, топтали, плевали...

Наконец один из подлецов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали веревками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тела... Вырежут — посыплют

солью, вырежут — и посыплют... От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут: резали и солили... Потом кто-то ткнул в грудь штыком, за ним другой... Но их остановили: можешь заколоть насмерть, мало помучится!.. Одного все-таки прикололи. Другой чуть дышал — это он вон теперь и умирал перед полком.

Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кашеваров оттащили и спрятали в навоз.

И вся история...

Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести.

В эти минуты приехали Федор с Чапаевым. Они, лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести.

Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпа, разошлись. В утреннем бою ни одного из пленных не довели до штаба полка... Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести: за кровь там платят только кровью!..

Даже и на себе Федор испытал отдаленное, но несомненное влияние этой истории: он на следующий день подписал первый смертный приговор белому офицеру. Про случай этот, пожалуй, стоит рассказать.

Вышло все таким образом.

Приехали в Русский Кондыз к Еланю. Он в утренней атаке захватил сегодня человек восемьдесят пленных. Охраны у них почти никакой.

— Будьте спокойны, не убегут, палкой их не угонишь теперь к Колчаку-то. Рады-радешеньки, что в плен попали!

— Что, Елань, опять? — спросил Федор, мотнув головой в сторону пленных.

— Так точно,— ухмыльнулся тот.— Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они — вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не троньте, ради христа,— ну и загнали.

— А офицеры?

— И офицеры были... Да ие пожелали в плеи-то идти, говорят — иевесело у иас...

Елань многозначительно глянул иа Федора, и тот больше ие стал расспрашивать...

— А может быть, и еще остались?

— Может быть, да молчат што-то.

— А солдаты разве ие выдают?

— Видите ли,— пояснил Елаиь,— солдаты тут у иих перепутались из разиых частей, ие зиают друг дружку, пополиеиия какие-то подоспели...

— А иу-ка,— обратился Федор,— давай попытаем вместе... Только прежде я хочу с плеиными поговорить — так, о разиом, обо всем понемиогу.

Когда Федор начал говорить, многие слушали ие только со вииманием и иитересом — мало того: они слушали просто с недоверием, с изумлением, которое иаписано было в выражении лиц, в растеряиио остановившихся взорах. Было ясио, что миогое слышат оии лишь впервые, совсем того и ие зиали, ие предполагали, ие допускали того, о чем теперь рассказывал им Клычков.

— Вот я вам теперь все поясиил,— закаичивал Федор.— Без преувеличений, без обмана, чистогаиом выложил всю иашу правду, а дальше разбирайтесь сами, как зиаете, что вам дорого и близко: то ли, что видели и чего не видели вы у Колчака, или вот то, про что я вам теперь говорил. Но зиайте, что иам иеобходимы лишь смелые, иастоящие и созиательиые защитиики Советской власти, только такие, иа которых можио было бы всегда положиться... Подумайте. И если кто иадумает бороться вместе с иами, заяви: мы иикогда не отталкиваем таких, как вы, обмаиом попавших к Колчаку.

Он окончил. Посыпались вопросы и политические, и воеииые, и по части вступлеиия в Красиую Армию... Кстати сказать, из иих бойцами вступило больше половииы, и потом Еланю иикогда ие приходилось каяться, что влил их в свои славиые полки.

Выстроили в две шереиги. Клычков обходил, осматривал, как одеты и обуты, задавал отдельиые вопросы. Некоторые лица останавливали на себе вииманиe — видио было, что это ие рабочие, не простые деревенские ребята; их отводили в стороиу и потом в штабе дополиительно и подробно устаиавливали личность. Одии особенно наводил

на сомнения. Смотрит нагло, вызывающе, стоит и злорадно ухмыляется всей процедуре осмотра и опроса, как будто хочет сказать:

«Эх вы, серые черти, не вам нас опрашивать!»

Одет-то он был наполовину, как простой солдат, но и тут являлось подозрение: штаны и сапоги отличные, а рубаха дрянная, дырявая, по всей видимости — с чужого плеча; на его выхоленное, дородное тело напяливалась она лишь с трудом, а ворот так и совсем не сходился на здоровеннейшей пунцовой шее, напоминавшей свиную ляжку. На голове обыкновенная солдатская фуражка — опять видно, что чужая: не пристала к лицу, да совсем ее и носить-то не может. Не чувствуется в нем простой солдат.

Федор сначала прошел мимо, не сказал ни слова, а на обратном пути остановился против и в упор, неожиданно спросил:

— Ведь вы офицер, да?

— Я не... нет, я рядовой,— заторопился и смутился тот.— А почему вы думаете?

— Да так, я знаю вас,— схитрил Клычков.

— Меня знаете? Откуда? — уставился тот.

— Знаю,— пустил себе под нос Федор.— Но вот что: нам здесь воспоминаниями не заниматься. Я вас еще раз спрашиваю: офицер вы или нет?

— Еще раз отвечаю,— выпрямился тот и занес высоко голову,— я не офицер...

— Ну хорошо, на себя пеняйте.

Федор вывел его вперед, вместе с ним вывел еще несколько человек и со всею группой пошел рядами, но прежде обратился к колчаковским солдатам с коротким и горячим словом, рассказав, какую роль играет белое офицерство в борьбе трудящихся против своих врагов и как это белое офицерство надо изничтожать, раз оно открыто идет против Советской власти.

Пошел по рядам, показывал группу, спрашивал, не узнает ли кто в этих лицах офицеров. Откормленного господина признало разом несколько человек, когда с него сняли фуражку.

— Как же, знаем, офицер непременно...

И они назвали часть, которой он командовал.

— Только его и видели два дня, а как же не узнать...

Ои воротннк давеча поднял, а картуз, значит, опустил, и не усмотрншь. А теперь как же его не узнаешь? Он и есть...

Солдаты опозиавали с видимым удовольствием. Всего в тот раз опозналн несколько человек, ио нз офнцеров был только этот один, а то все чнновники, служащие разные, адмнннстрацня...

— Ну что же? — обернулся теперь к нему Федор.

Тот смотрел в землю и упорио молчал.

— Правду солдаты-то говорят? — еще раз спросил Федор.

— Да, правду. Ну так что же? — И ои, видимо пояяв серьезность положення, решил держаться с той же высокомерной наглостью, как н прн первом допросе, когда обмаиывал.

— Так я же вас спрашивал... и предупреждал...

— А я не хотел,— отрезал офицер.

Федор решил было сейчас же отправнть его вместе с группой чиновников в штаб, но вспоминл, что еще не делалн обыска.

— А ну-ка, распоряднтесь обыскать,— обратнлся он к стоявшему тут же и молчавшему Еланю.

— Да чего же распоряжаться...— сорвался тот,— я сам...

И ои принялся шарнть по карманам. Вытащнл разную мелочь.

— Больше ннчего нет?

— Ничего.

— А может, еще что? — спросил Елаиь.

— Сказал — зиачит, иет,— грубо оторвал офицер.

Этот его заносчнвый, презрнтельиый н вызывающнй тон волновал невероятно. Елань вытащнл какое-то пнсьмо, развернул, передал Федору, н тот узнал нз него, что офнцер — бывший семинарист, сын попа н больше года борется протнв Советской власти.

Пнсьмо, вндимо, от невесты. Пишет она нз ближнего города, откуда только что выгнали белых. «Отступят белые не надолго,— говорнлось там,— терпи... от красиых нам житья нет никакого... Пусть тебя храиит господь, да н сам хранн себя, чтобы отомстить большевикам...»

Кровь ударнла Федору в голову.

— Довольно! Веднте! — крнкнул он.

— Расстрелять? — в упор и с какой-то ужасающей простотой спросил его Елань.

— Да, да, ведите...

Офицера увели. Через две минуты был слышен залп — его расстреляли.

В другое время Федор поступил бы, верно, иначе, а тут не выходили из памяти два трупа замученных красноармейцев с вырезанными полосами мяса, с просоленными глубокими ранами...

Потом — это упорство, нагло-вызывающий офицерский тон и, наконец, письмо невесты, рисовавшее с несомненной точностью и физиономию офицера-жениха...

Клычков был неспокоен, весь день был настроен тревожно и мрачно, не улыбался, не шутил, говорил мало и неохотно, старался все время остаться один... Но только первый день, а наутро — как ни в чем не бывало. Да и странно было бы на фронте долго мучиться этими переживаниями, когда день за днем, час за часом видишь потрясающие, ужасные картины, где не один, а десятки, сотни, тысячи являются жертвами.

Кровавые следы войны — растерзанные трупы, искалеченные тела, сожженные селения, жители, выброшенные и умирающие с голоду,— эти кровавые следы, по которым и к которым вновь и вновь идет армия, не дадут они долго мучиться только одною из тысячи мрачных картин войны! Они заслоняют ее другими.

Так было и с Федором: он уже наутро вспоминал спокойно, что вчера только первый раз приказал расстрелять человека...

— Тебе в диковинку,— смеялся Чапаев.— А побыл бы ты с нами в тысяча девятьсот восемнадцатом году... Как же ты там без расстрела-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их некому, каждый боец на счету — в атаку нужно, а не на конвой. Всю пачку так и приканчиваешь... Да все едино — они нас миловали, што ли? Эге, батенька!

— А первый свой приговор, Чапаев, помнишь?

— Ну, может, и не самый первый, а знаю, што трудно было... Тут всегда трудно начинать-то, а потом привыкаешь...

— К чему? Убивать?

— Да, — просто ответил Чапаев, — убивать. Вон,

к примеру возьмем, приедет кавалерист из школы там какой-нибудь. Он тебе и этак и так рубит... Ну, по воздуху-то ловко рубит, очень ловко, а как только человека секануть надо, куда вся ученость пропала: разок-другой — одна смятка... А обойдется — и ничего. Всегда по первому-то разу не тово...

Говорил Федор и с другими закаленными, старинными бойцами. В один ему голос утверждали, что в каком бы то ни было виде — заколоть, зарубить ли, приказ ли отдать о расстреле или расстрелять самому — с любыми нервами, с любым сердцем *по первому разу* робко чувствует себя человек, смущенно и покаянно, зато потом, особенно на войне, где все время пахнет кровью, чувствительность в этом направлении притупляется и уничтожение врага в какой бы то ни было форме имеет характер почти механический.

* * *

От Еланя — в бригаду Шмарина. Если уж Елань, завидуя славе Чапаева, сам хотел сравняться с ним, так он имел на это много прав — сам был подлинным и большим героем. А вот Шмарин, этот тужился впустую. Суеты у него было нескончаемо много, отдыху он не знал, в движении был непрестанно, озабочен был ежеминутно, даже у сонного у него озабоченность эта отражалась на лице. Шмарин беда как любил рассказывать небылицы о собственных подвигах! И рассказывал их едва ли не при каждом свидании. Правда, вариации обычно менялись — там где-нибудь пропустит или накинет лишнее ранение, контузию, атаку,— но в общем у него было шесть-семь крепко заученных подвигов, и рассказывать их было для Шмарина высоким наслаждением. Рассказывая, он буквально захлебывался от упоения буйно развертывавшимися событиями, любовался оборотами дела, восторгался только что придуманными неожиданностями. Он во время рассказа как-то странно дергал себя за густые черные вихры волос, пригибался к столу так низко, что носом касался досок, а двумя пальцами — средним и указательным — зачем-то громко, крепко и в такт своей речи колотил по кончику стола, и получалось впечатление, будто он не присутствующим, а этому вот столу читает какую-то назидательную проповедь, за что-то выговаривает, чему-то учит.

Сначала Шмарина слушали, даже верили, а потом увидели, узнали, что в повествованиях его вымысла вчетверо больше, чем правды, перестали слушать, перестали верить. Не подумайте только, что он одними фантазиями промышлял,— нет, рассказывал факты самые доподлиннейшие, безусловно происходившие, и беда не в том была, в другом: как только в которой-нибудь операции проявит кто мужество или талантливость очевидную, так, значит, это вот Шмарин сам и совершил все дело. А потом оказывается, что весь случай на левом фланге был, пока он, Шмарин, на правом крутился. Талантливость-то, выходит, командир батальона проявил, а Шмарин полком командовал, ну, что-нибудь в этом все роде... Любил человек приписывать себе чужие заслуги! Да и кого Федор не наблюдал из них, не Шмарина одного,— украсть чужое геройское дело, присвоить его и выдать за свое считалось у них делом наилегчайшим и совершенно естественным.

К Шмарину только приехать — и начнет! Поплетет и поедет — развешивай уши, до утра проговорит, коли с вечера сядет. Его непременно «окружали», он непременно откуда-то и куда-то «прорвался», хотя всем известно, что боев у него на участке за минувший, положим, день не происходило. У него фланги постоянно под «страшной угрозой», соседние бригады ему никогда не помогают, даже вредят и уж непременно «выезжают» на его плечах, присваивают себе победы его бригады, получают похвалы, одобрения, даже награды, а он вон, Шмарин, подлинный-то герой, всеми забыт, его не замечают, не отмечают, считают, видно, крошечным человечком, не зная, что он-то, Шмарин, и является виновником больших дел, похищенных и присвоенных другими.

Когда друзья наши приехали теперь к нему от Еланя и сообщили, что тот пленных груду набрал, Шмарин внимательно выслушал и вдруг быстрым движением приложил себе на неумытое желтое лицо большую пятерню и как бы в задумчивости рассеянно проговорил:

— Так, так, так... Ну куда же? Я так и знал, что им деться было некуда...

— Кому некуда? — спросил Чапаев.

— А вот тем, что Елань-то взял. Вы знаете, товарищ Чапаев, что это за пленные? Я им еще наколотил раньше —

иа правом-то у меня бой был, помните? Ай нет? В таком внде куда же им — только в плеи н оставалось...

У Шмарниа была иехорошая черта: умалять заслуги других, умалять даже н там, где ему иет от этого ровио инкакой выгоды.

Увидев, что Шмарин и теперь склонеи к повествоваииям о «вчерашних успехах», Чапаев ему задал самый нужный и самый важный вопрос, от которого отвертеться н отмахнуться уж ннкак нельзя:

— Што на фронте бригады?

Вошли в штаб — комиатушку, прокуреииую до чериоты, прокисшую, вонючую, словно тут и было только постояиио, что курили да чаднли. У Шмарнна в штабе всё работали ребята толковые, помогали ему не за страх, а за совесть. Суетливый пустомеля, опасиый фантазер, Шмарии, однако, задачи дивизнонные всегда разрешал неплохо. Исполнитель он был, пожалуй, вовсе иедурной, только вот в творцы совсем не годнлся, инициативы ие имел ннкакой, сам создать ннчего не умел, готового указа ждал, ие настолько зряч был, чтобы вндеть в любой обстаиовке все главиое и важное.

В штабе публика точеная, повадки чапаевские знает — рассказала все до мелочи, мало что поиадобилось добавить самому Шмариу. Когда выясннли обстаиовку, Чапаев сейчас же решил проехать по полкам бригады — они вели иаступление. Шмарии оставил заместителя — собрался н сам.

Услышаииые в штабе цифры наших и неприятельских войск, просмотреииые по картам лииии речек и дорог, зелеиые пятна лесов, каштаиовые прнгоркн — все это жило в памятн Чапаева с изумительиой отчетливостью. Он ехал и показывал Шмариу, что должно быть за этим вои бугорком, какие силы должны быть скрыты за ближним лесом, где примерио должен быть брод... Ои зиал все и представлял все отчетлнво. Когда попадали на стрелку и две-три дороги сходилнсь в одиом пункте, Чапаев без долгого раздумья выбирал из иих одиу и ехал по ней так же уверенио, как бы ехал по зиакомой улнце какого-ннбудь маленького городишки. Ошибался редко, почти иикогда, разве уж только на окружиую какую попадет или в тупик упрется, зато и выбраться ему отсюда пара пустяков: осмотрится, потопает, что-то взвесит, вспомннт разные

повороты, приметы, что были на пути,— и айда! Ночью разбирался труднее, а днем почти всегда безошибочно. По части уменья разбираться в обстановке у него был талант бесспорный, и тут с ним обычно никто и не состязался: как Чапаев сказал, так тому и быть.

Подъехали к первому полку. Он разбросался в маленьких, только что вырытых недавно окопах. Да и не окопы это, а какие-то совсем слабенькие сооружения, словно игрушечные, карточные домики: насыпана земля чуточными бугорками, и в каждом из них воткнуто по сосновой ветке, так что голову прятали и не разберешь куда —не то под ветку, не то за этот крошечный бугорок, наподобие тех, что бывают в лесу у кротовых нор. То ли неприятель и впрямь эти веточки за кустарник местами принимал или же просто тревожить, вызывать на драку не хотел, молчал, не стрелял, хоть и таился совсем недалеко, за сыртом.

В окопы ползком протаскивали пищу. Ляжет на брюхо, вытянет руки с котелком или суповой чашкой и ползет, ползет, как червяк, извивается — на локтях да на коленках от самой кухни строчит. Бойцы обедали, передыхали, после обеда — снова в наступление. У иных можно было заметить то книжку, то газету; верно, уж какая-нибудь безбожно старая — так она затаскана и засалена. Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает — да так все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь он у себя в деревне от июльской жары укрылся в праздничный день.

Чапаев, Федор и Шмарин проходили сзади цепи — по ним не стреляли. Это заставило Чапаева тут же задуматься.

— А верно ли, что за бугром неприятель, и кому это известно? Может быть, был, да нету? — обратился он к Шмарину.— Ну-ка, проверить!

По разным направлениям поползла разведка. Двое уже добрались к бугру, вползли на хребет, чуть приподнялись, выше... выше... выше... и встали во весь рост. Воротились, доложили, что по склону нет ни единой души, верно, неприятель уполз перелеском.

Пошли вперед, забрались на самую высокую точку, в бинокль стали смотреть по сторонам.

— Вон, видите,— показал Чапаев,— куда уходит лес? Оттуда, по-моему, они и хотят обойти.

— Не обойдут,— заметил Шмарин.— Три дня гоню. Куда им обратно! Дай бог только пятки смазать.

— Вот они тебе на четвертый-то и смажут,— серьезно ответил ему Чапаев, не отрываясь от бинокля, поводя его по сторонам.

— Не воротятся,— продолжал уверять легкомысленно Шмарин.

— А воротятся? — резко и недовольным тоном сказал Чапаев.— А если там командир не дурак да поймет, что и бежать-то ему даже легче будет, коли по тылу тебя шугanет? Пока соберешься, где он будет? Шляпа! А ты вникай, шевели мозгами. Думаешь, так он тебе горошиной под носом и будет катиться?

Шмарин молчал, отвечать было нечего.

Чапаев указал ему, что надо сделать, дабы предупредить возможный обход, сказал Шмарину, чтобы до выяснения положения оставался тут, а сам вместе с Федором отправился к двум другим полкам.

И к чему он ни подходил, к чему ни прикасался, повсюду находил, как и что надо исправить, где в чем надо помочь. Когда уже были на крайнем правом фланге бригады, в третьем полку, Шмарин прислал гонца, сообщил, что обходное движение неприятеля действительно обнаружено, но сам неприятель понял, что обнаружен прежде времени, и отступил в ранее взятом направлении. Свою писульку Шмарин заключал торжественно:

«Всю злостную попытку я прикончил немедленно, не потеряв ни одного солдата...»

Надо думать, что тут и «приканчивать» было нечего: тучи рассеялись сами собой.

Заночевали здесь же, в третьем полку. Штаб его расположился в деревне, кругом были выдвинуты заставы. За околицей, в сторону неприятеля, полукругом на ночь окопалась красноармейская цепь. В халупе, где остановились,— дрянная коптилка, так что лица человеческие можно было рассмотреть лишь с трудом. Утомились, говорить не располагало, стали приткнуться по углам, растягиваться по лавкам, искать, где поудобнее заснуть; в полумраке ползали, как черные привидения.

В это время привели на допрос мальчугана годов четырнадцати. Допрашивали полковые, подозревая, что шпион. Сначала задавали вопросы: кто ты, откуда, куда пробирался, зачем? Рассказал мальчуган, что отца у него с матерью нет, за ту войну где-то сгибли. Сам он беженец-поляк, а числится теперь в «третьем добровольческом красном батальоне». Такого никто не знал, и подозрения усилились еще больше.

— Как тебя зовут?

— Женя...

— А ты говорил, что Алеша,— захотел его кто-то спутать.

— Не выдумывайте, пожалуйста! — твердо и с каким-то естественным достоинством заявил мальчик.— Я вам никогда не говорил, что меня Алешей звать. Это вы придумали сами.

— Разговорчив ты больно, эй, мальчуган!..

— А что мне не говорить?

— Не болтай, дело рассказывай. От белых шел? Ну, говори, чего притворяться-то! Скажешь — ничего не будет.

— Да ничего не скажу, потому что нет ничего,— с дрожью в голосе отбивался он от наседавших допросчиков.

— Ну, ну, не ври! Тут никакого твоего батальона нет. Выдумал... Говори лучше, зачем шел, куда?

И вот все в этом роде принялись его прощупывать. Хотелось вызнать, кто его, куда и зачем послал.

Грозили всяко, запугивали, расстрел упомянули.

— Ну что ж, расстреливайте! — сквозь слезы проговорил Женя.— Только зря это... Свой я... Ошибаетесь...

Федор решил вмешаться. Он до сих пор лежал и слушал, ожидал, чем кончится допрос. Теперь ему все равно, свой мальчик или не свой, захотелось спасти его, оставить у себя, перевоспитать, если понадобится. Он сказал, чтобы закончили допрос, и уложил обрадовавшегося Женю рядом с собой на полу. (Федор потом действительно выработал из Жени отличного и сознательного парнюка: он работал по связи в бригаде и полку.)

Опять все притихло в штабе. Чадила коптилка, из углов всхрапывали, посвистывали спящие, чавкали за окном всегда готовые, оседланные кони. Перед тем как

все стали укладываться, Шмарин, к тому времени уже прискакавший из полка, решил «осмотреть», все ли в порядке, и вышел из избы. Сколько прошло времени, никто не запомнил потом, но уже было к заре, когда Шмарин подбежал, запыхавшись, и в распахнутую дверь крикнул громко, скороговоркой:

— Скорей, скорей, неприятель наступает!!!

Все вскочили разом, через минуту были на конях.

— Цепи уже на горе, сажен двести,— задыхался Шмарин, никак не попадая в стремя ногой.

Горячий конь вертелся волчком, не давался. Шмарин его с размаху, со всею силой ударил по морде.

Выскочили за ворота. В чуть брезжущем полумраке ныряли во все стороны человеческие фигуры. Куда они бежали, понять было трудно: одного направления не было, метались во все стороны. За воротами тотчас же разделились, не говоря ни слова: разговаривать было некогда. Один кинулись по дороге — наутек, спасаться... Чапаев быстро сообразил и помчал к резервному батальону, стоявшему неподалеку. Шмарин, а с ним и Клычков поскакали навстречу наступавшим цепям, перед которыми, как надо было думать, отступали цепи красноармейцев. Клычков с тою целью поскакал теперь со Шмариным, чтобы остановить отступающих и личным примером поднять их дух. Молнией сверкало в памяти, как он в Уральске спорил с Андреевым о цепи, обороне, участии в бою во время паники, и мигом охватила гордая, торжественная радость.

— Ложная тревога... Ошибка... На горе свои цепи!

— Отставить! — вдруг прогорланил Шмарин.

К кому относилась эта команда, понять было невозможно, да и не было никого кругом, кроме отдельных, во все стороны сновавших бойцов. Сейчас же послали воротить Чапаева и всех ускакавших по дороге. Криками и выстрелами их остановили. Через десять минут все снова были в сборе.

Эта суматоха, крики и стрельба были слышны в полку и вызвали там большое недоумение, даже предполагали, что обойдены, что надо принимать срочные меры. Бойцы насторожились, зашигутились, приготовились, собрались посылать во все стороны новую разведку, пока им не донесли, что вся тревога была впустую. Когда снова собрались в избу, хоть было еще и очень рано, спать не спали,

присели к столу, завязался разговор. Кого-то бранили, ио кого имеиио, понять было иевозможно. Шмарина? Нет, ои обязаи был поднять всех иа иоги, раз заметил опасность, а проверить ее ие оставалось иисколько времеии. Сами себя? Нет, сами себя тоже признали иеповиииыми, потому что какой же чудак будет сидеть в избе, когда тут рядом наступает иеприятельская цепь! Сполох призиали неизбежиым, иа том и смирились. Хоть повиииого и не нашли, а в то же время все как будто стыдились, смущались чем-то: разговоры были иеуверениые, в глаза одии другому не глядели, перебрасывались короткими фразами, глядя через голову, мимо, в окно, в чериую пустоту...

— Вот те и до паиики рядом,— сказал Шмарин, иагибаясь иад столом, прикуривая от коптилки.— Разбери ты, поди, кто обмаиул...

— А тебе кто сказал? — спросил его Чапаев.

— Из штаба полка... Навстречу...

— Да кто же?

— Вот и ие помию, ие узиал... Проскочил дальше — цепь идет, видно кое-что... Зиачит, думаю...

— Не «думаю» — зиать иадо! — виушительио заметил Чапаев.— Зиаешь, што у иас было одии раз? Не теперь — в германскую, там, иа Карпатах. Горы — ие эти бугры: коли заберешься, и ие слезешь скоро... Лезли вот так-то, лезли, а австрияк засел в каждую нору, за камиями иапрятался, где за кустом, в песку лежит — одним словом, у себя человек дома живет, его нечего учить, куда прятаться иадо... Растянемся, как на базаре, а ои по тылу стукнет, да и угоиит весь обоз... Артиллерия есть — и ее берет. Мы, зиачит, на этот раз загиали все в середку, окружили по стороиам, да так и идем. Лошадей-то ие хватало — мы быков, а иочью заревет, продаст ии за что... Ты прикладом и ие думай — хуже того завоет... Пока хлеб был, так кусок ему воткнешь — молчит... А потом плохо. Ночью одии раз переход иадо было до утра... И разведка как следует: «Ничего,— говорит,— иет, можио». Собрались, пошли, а обоз да с быками-то посередке весь... Ночи эти по горам — кто был, так зиает. Чего же говорить, хуже и быть ие может. Што тебе вот сажа черная, што иочь — иичего... Идем, ие шумим, только камушки катятся с горы-то аж доиизу. Вот как иочью идешь — и чего только тебе ие привидится! Под кустом будто лежат кругом да ждут. А иа дереве тоже

сидит... Камень большой, а тебе как человек в сумерках-то. Ну какой ты храбрый ни есть, а то и знай вздрагиваешь. Страшно ночью, откуда што берется: стрелять не видишь, бежать не знаешь куда, будто в кольцо попал... Командовать? Да как же тут командовать-то, раз не видишь ничего! Так уж садись и сиди, пока тебя по затылку саданут. Другой манер, коли ты сам наскочил. Тут шуму дал — да и тягу... А вот по горам, да не знаешь ничего, ну-ка! Идем мы, идем, и, видишь ли, кому-то напереди неприятель будто стренулся... Он его — хлоп, а оттуда нет ничего. Он еще пальнул, а тут как поднялась, как поднялась, сама себя и давай... Место наше было узкое — гусем шли... Спереди палят и сзади тоже. А потом как хватят с горы-то, да и бежать, да и бежать, потому што стали падать убитые, а откуда огонь — не видать... На низ бежать — а тут обозы, скотина эта, быки, да перепугали всех — они тоже вскачь пошли. И все помчалось с гор... Как обоз рванул в обратную, так и замял все назади... А тут наворотили — ни проехать, ни пройти. Другого хода нет. Деться некуда, через верх бросились. А те, што пониже, с горы, думали, лезет кто, да по ним, по ним. Бегут и стреляют. Как оглянутся кверху-то, да по ним... Што народу легло — ай-ай! А все из-за чего? Паника вот эта самая и есть. Кто тебе што тебе сказал, чего где увидал,— ты посмотри, а не ротозей, не ори: караул, мол, цепи идут!..

— Зачем кричать, никак нельзя...— поддержал Шмарин, как будто не понимая, что речь идет о нем самом.— От крику-то все и образуется.

— То-то, «от крику»...— куда-то в сторону обронил Чапаев, озадаченный таким маневром Шмарина.

— Я думаю,— вмешался Федор,— есть такие положения, что уж никак не остановишь панику, никак. Кто хочешь будь, что хочешь делай — ну никак... Вот в этом хотя бы случае...

— Да, тут была одна погибель,— согласился Чапаев.

— Погибель... И сами себе эту погибель создали,— продолжал Клычков свою мысль.— Бороться надо не с паникой, а п р о т и в паники, предупреждать ее надо. А что для этого требуется? Да кто его знает, что: на каждый случай свое особенное... В этом случае, что на Карпатах, по-моему, надо было пускать вперед совсем особенных солдат, совсем особенных... И разведку особенную, меньше

всего поддающуюся страхам ночи... Да сладить выстрелы там, знаки разные, сигналы... И только по сигналам, а не как кому вздумается...

— Совсем не в сигналах дело,— остановил его Чапаев.— Сигналы... Ну што тебе сигнал поможет, когда лошади бегут с перепугу, быки? Их не надо было пускать в середку... Ночью этого нельзя. Да и самого-то походу было нельзя.

— Нет, отчего же нельзя? Очень бы можно, если бы обставить...

— Ай и обставили! — засмеялся Шмарин.— Чего же лучше, на-ка, что обставили...

Этот странный смех, эти не к делу сказанные слова оборвали разговор. Ни спать, ни сидеть охоты не было, да и не было нужды оставаться здесь... Чуть светало. Еще совсем было холодно, по-ночному. Тихо. Успокоилась, заснула деревня, встревоженная в неурочный час... Чапаев дождался у крыльца, когда ему подведут оседланного коня. Федор подседлывал сам. Через несколько минут они ехали по знакомой вчерашней дороге.

XI. ДАЛЬШЕ

Чапаевская дивизия Белебей обходила с севера, брать самый город поручено было не ей. Но уж такова слабость некоторых командиров — ткнуться в пункты, что покрупнее, и доказать непременно свое активное участие в овладении этими пунктами.

В гражданскую войну не всегда преследовали цель уничтожения врага как живой силы — чаще гнались за территорией, а особенно за видными, известными городами. Стремление это имело, впрочем, под собой не одно лишь военное значение. Оно имело значение и политическое: каждый крупный центр, большой город являлся в то же время и политическим центром на более или менее широкую округу, и пребывание его в белых или красных руках совсем не безразлично отзывалось на политической бодрости или вялости этой самой округи. А поскольку политика в гражданскую войну являлась основной пружиной действия, каждый и стремился овладеть как можно быстрее центральными пунктами.

Белебей был уж не ахти каким значительным центром, однако ж и он имел свое объединяющее значение

Правофланговая бригада Чапаевской дивизии подошла к городу как раз в момент решительной схватки, приняла в этой схватке участие и вместе с соседней дивизией вошла в город. Был шум, были протесты, было много споров о том, кто город взял ф а к т и ч е с к и, кто вошел первым, кто проявил находчивость, героизм, талантливость и так далее, и так далее — спорам этим нет конца, раз две воинские части одновременно заняли один и тот же пункт. Сам Чапаев в спорах участия не принимал — эту заботу поручил он бригадному командиру Попову, и тот изощрялся в дипломатическом искусстве.

Полки расположились на север, по берегу Узеня. Выжидали. Здесь — красные, за рекой — белые. Так несколько дней.

Отдыхали, собирались с силами, готовились к схватке. Чапаев бранился, все время бранился и выражал недовольство, преступной считал эту стоянку на Узене.

— Што за отдых? — кричал он.— Какой дурак на фронте отдыхает?! Да и кому этот отдых понадобился? Может быть, самим штабам он нужен? — язвил Чапаев, намекая на возможную там измену, на сознательное замедление быстрого и победоносного движения красных войск.

А двигались действительно не ахти как быстро. С остановками, с передышками, подготовками да перегруппировками выходило в среднем что-то верст по восемь — десять на сутки; были охотники, что занимались и этими вычислениями, давая Чапаеву цифры, приводившие его в ярость.

— Я не устал, не устал! — гремел он, стуча кулаком по столу.— Когда попрошу, тогда и давай, а теперь вперед надо... Враг бежит, «следовано» на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой...

— Ну, Василий Иваныч,— говорили ему,— ты про одну свою дивизию толкуешь... Чудак ты человек! А другие-то? Надо их выравнять, сменить, подновить — да мало ли что по фронту требуется. Нельзя же одну свою дивизию «на мушку брать» и полагать, что одна она все дело сделает...

— А не сделает? — сверкнул глазами Чапаев.— Какая это подмога мне со сторон-то? Видано ли, штобы хоть вот столечко помог кто-нибудь? На, выкуси,— помогут!.. Одной дивизией возьму Уфу, только не мешай, не лезь...

— Кто это — н е л е з ь?

— Да никто не лезь. Я сам сделаю,— отвечал он уже несколько пониженным тоном, как будто спохватившись и поняв, что заговорился неладно.

Подобных скандалов и скандальчиков было много. До самой Уфы Чапаев был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одерживала победу за победой. Ему все казалось, что мало дают простору, что инициативу его обкрадывают, к голосу его не прислушиваются, с мнением его не считаются.

— Чего они там видят — карту? — пошумливал он в своем кругу.— Так ведь мы воюем не на карте, а на земле... На земле мы воюем! — все больше приходил в азарт Чапаев.— Мы тут всё знаем и всё видим сами... Нам указывать нечего, только подмогу давай!

— Опять не так, Василий Иваныч,— образумливал его Клычков.— Координировать, объединять надо все действия.

— И объединяй,— прерывает Чапаев,— кто тебе мешает объединять? Не мешай, говорю... Когда разбегом надо бежать, а мы — смотри-ка, праздники какие справляем на Узене...

— Какие праздники? Брось, пожалуйста! — возражал ему Федор.— Будет, нарывались уже довольно со своей торопливостью... Опыт научил, вот что...

— Это сидеть-то? — вскидывался Чапаев.— По рекам-то? Когда у Колчака только пятки сверкают? Ну, уж воюйте, брат, этак сами, а мы не привыкли... Затеяли дивизии переменить, да разве время? — ворчал он.— Да разве солдат тебя просит, жалуется?.. Брошу все, опять отрядом стану командовать... Там уж как задумал, так и все твое, а тут...— И он энергически плюнул.

— Ты сменой недоволен,— все хотел его урезонить Клычков,— странный человек! Соображения, значит, есть, не с пустой же головы в такие дни задумали перетасовку... Может, и в самом деле истрепались, устали до последнего?

— А-а-а...— махнул он рукой.— Никто не устал... Вчера мне навстречу красноармеец... Один ковыляет, в лесу, хромает, гляжу — забинтованный весь, маленький, тощий, как селедка. «Чего ты, куда?» — спрашиваю. «А я,— говорит,— обратно в часть к себе».— «Ну, так хромаешь-то чего?» — «Раненый».— «Што не лечишься?» —

«Некогда,— говорит,— товарищ, не время теперь отдыхать-то, воевать надо... Убьют,— говорит,— лягу в могилу, делать там нечего, вот и полечусь...» А сам смеется. Как посмотрел я на него... Ах ты, думаю, знать, молодец и есть... Снял часы с руки, даю ему. «На,— говорю,— носи, помни Чапаева». А он сразу не узнал, видно... Веселый сделался, не берет часы, а знай махает рукой... Потом взял... Я — в свою сторону, а он стоит, смотрит да смотрит, пока его видеть перестал... Вот они, усталые-то... С такими усталыми всем Колчакам морду набью!..

— Да, таких много,— соглашался Федор.— Может быть, большинство даже, а все-таки и они могут уставать...

Но Чапаева тут разубедить было чрезвычайно трудно. Даже не помогла ссылка на Фрунзе, которого он уважал чрезвычайно.

— Ведь распоряжение-то без Фрунзе не проходит? Ведь не одни же генералы и подписывают!

— А может, и одни! — как-то загадочно и тихо протестовал Чапаев.

— Да как же это?

— А так... Наши приказы Колчаку раньше известны, чем нам... Вот как...

— Откуда это ты плетешь? — удивился Федор.— Ну, один-другой приказ, может, и в самом деле угодил к Колчаку, но нельзя же делать такие заключения, Василий Иваныч.

Но сопротивление бесполезно. Чапаев оставался при своем: относительно «штабов» переубедить его было невозможно — не верил им до последней минуты жизни...

* * *

Ранним утром цветущим лесом пробирались на Давлеканово. Ехали в горы, ехали с гор, пересекали чистые ключевые речки, рысили по пахучим черемуховым аллеям. Дорога тихая, светлая, полная звуков, пропитанная запахами весеннего утра.

Из этих лесов — по бригадам, по полкам — к красноармейцам, грязным, вшивым, измученным, полуголодным, полураздетым... Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивляются вражеские войска. Задерживаются на всех удобных местах, особенно по горам, сосредоточивают ударные горсточки, ходят в контратаки... Обозы не дают — угоняют

их заранее вперед себя, охраняют большими отрядами: видно, снабжать Красную Армию не хотят!

День ото дня двигаться было труднее и труднее. Обнаруживался массовый шпионаж: на Колчака работали свои разведчики, работали кулачки-крестьяне, работали нередко татары, которые обмануты были во множестве рассказами, будто идут большевики исключительно с тем, чтобы отнять у них аллаха и разбить мечети. Были случаи, когда в татарском поселке открывали из окон огонь по вступавшему красному полку. Стреляли жители-татары, и не какие-нибудь богатеи, а настоящая голь перекатная. Ловили... Что делали? По-разному поступали. Иных расстреливали на месте — война церемоний не любит,— а иного отдавали «на разговоры» своим же красным бойцам-татарам. Те в короткий срок объясняли соплеменнику, за что борются, и нередки были случаи, когда он сам после беседы вступал добровольцем в Красную Армию.

Шпионов ловили часто...

В Давлеканове красноармейцы сообщили Федору, что в полковом обозе везут какую-то девушку, захваченную по дороге: просит, чтобы подвезли поближе к Уфе, хочет войти туда с красными войсками — в Уфе мать, сестры, родственники.

— Приведите ее ко мне,— распорядился Клычков.

Девушку привели. Годов девятнадцать... Хромает... Окончила недавно гимназию... Одета плохо... Говорит много про Уфу... Рвется скорее туда... Совершенно ничего подозрительного. Но ему инстинктивно почувствовалось недоброе — без всяких поводов, без оснований, без малейших фактов. Решил испытать, думал:

«Ошибусь, чем рискую? Отпущу — и конец!»

Говорил-говорил с ней о разных пустяках, да в упор внезапно и поставил:

— А вы давно ранены?

— Давно... То есть чего же... Нет... Откуда вы думаете, что я ранена?

— А хромаете,— твердо сказал Федор и пристально-пристально посмотрел в глаза.

Рядом сидел товарищ Траллин, начальник политотдела армии, сидел и молча наблюдал картину оригинального допроса.

— Ну... да...— замялась она.— Нога-то... была... но уж давно. . совсем давно.

Федор понимал, что вопросы надо ставить быстро и непрерывно, оглушить ее, не давая придумывать ответы и вывертываться.

— Где ранены, когда?

— Бумагу в штаб несла...

— Бой был близко?

— Близко...

— В разведке у них работалн?

— Нет, не работала, машинисткой была.

— Врете, врете! — вдруг крикнул он.— Вот что, мне все известно. Поняли? Все! Я вас знаю, нашн разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение, сейчас же... На этой, на бумажке, знаете?

— На какой? — робко спросила она.

— А вот на тоненькой-тоненькой... Знаете, вроде папиросной бывает. Ну-ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши знают, как вам ее писали. Да ну же!..

Федор впился глазами и удивился сам неожиданным результатам. Девушка окончательно стушевалась, когда услышала про бумажку... А известно, что всем разведчикам даются удостоверения на крошечных клочках тончайшей бумаги и они прячут эти удостоверения в складки платья, в скважину каблука, затыкают в ухо, ну, куда только вздумается...

Девушка достала мундштук, трижды его развинтила и вытащила бумажку, скатанную и прилепившуюся по сторонам мундштукового ствола. Там значились фамилия, имя, отчество...

Успех был замечательный...

Ей учинили официальный допрос: сначала у себя, а позже — в армии. Допрашивал ее и случившийся в ту пору товарищ Фрунзе. Девушка сообщила много ценного, заявила, между прочим, и то, что красные некоторые разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. Много дала материала, очень к делу подошла...

* * *

Полки шли на Чишму. Ясно было, что такой важный пункт дешево не отдадут: здесь сходятся под углом две

железнодорожные ветки — Самаро-Златоустинская и Волго-Бугульминская. Уж за десяток верст от станции начинались глубокие, ровные, отделанные окопы с прекрасными блиндажами, с тайными ходами в долину, с обходами под гору. Были вырублены целые рощи и в порубях расчищены места для кавалерийских засад, а поля, словно лианами, были повиты колючей проволокой... Ничего подобного не попадалось ни под Бугурусланом, ни у Белебея, особенно окопов, так тщательно и основательно сработанных, не встречали уже давно. Было видно, что враг готовился основательно.

На Чишму наступала бригада Еланя — разинцы, домашкинцы, пугачевцы. Все последние версты продвигались с непрерывным, усиливающимся боем.

Чем ближе к Чишме, тем горячее схватки. Атаки отбивались, неприятель сам неоднократно ходил в контратаку.

Но чувствовалась уже какая-то предопределенность, даже в самых яростных его атаках не было того, что дает победу: уверенности в собственных силах, стремления развить достигнутый успех. Враг как бы только огрызался, а сам и думать не думал стать победителем.

У Колчака явно неблагополучно. Дисциплина упала даже и среди офицерства — ряд телеграмм говорит об ослушании, о невыполнении приказов. Для поддержания «духа» армии высшее офицерство прибегает к мерам весьма сомнительного достоинства: начинает присваивать себе победы красных войск, в приказах и листовках перечисляет «своими» такие пункты и селения, в которых по крайней мере неделю развевается красный флаг. Войска про это, конечно, узнают и окончательно перестают верить даже бесспорно правильным сведениям.

Словом, рассыпáлась армия колчаковская с очевидностью совершенно несомненной. Этому процессу красные войска помогали усиленно. В тыл белым возами развозили агитационную литературу и через жителей, и с аэропланов, и со своими ходоками рассыпали миллионы воззваний, обращений, всяческих призывов. Красные агитаторы проникали в самую глубь неприятельского расположения, в самую гущу белого солдатства и там безбоязненно, совершенно недвусмысленно проводили свою героическую работу.

И все же, несмотря ни на что, бои порою бывали настолько серьезны и ожесточенны, что разбивали всякие предположения и всякую уверенность в начавшемся разложении белой армии. В этих серьезных схватках участвовали наиболее стойкие белые полки; их было по сравнению с общей массой немного, но дрались они великолепно, и техника у них была тоже великолепная. Перед самой Чишмой бой настолько был серьезен, что в иных ротах осталось по красным полкам всего тридцать — сорок человек. Отчаянно, вдохновенно, жутко дрались! На броневые поезда кидались с ручными бомбами, устилали трупами весь путь, бежали за чудовищем, кричали «ура», бросались, как мячиками, страшными белыми бутылками. А когда появлялись броневики, цепи ложились ничком, бойцы не подымали головы от земли: броневик «лежачего не бьет», тем и спасались... Просекал он цепи, гулял в тылу, палил, но безрезультатно, а когда удирал, и за ним тоже, как за поездом броневым, бежали и в него бросали белыми бутылками.

Героизм соприкасался с безумием: от пулеметного огня броневиков и броневых поездов немало полегло под Чишмой красных бойцов.

И здесь через двадцать минут, как закончили бой, когда еще в поле стоял пороховой дым и повисли в воздухе беспрерывные стоны перевозимых врагов и товарищей, Чишма зажила обычной в этих случаях жизнью. Из подвалов и погребов, из овинов и чуланов, из печей и из-под шестков, из подполья и с чердаков выползли отовсюду перепуганные пальбой крестьяне и засуетились около затомленных красноармейцев.

Застучали бабы ведрами, зашумели самоварами, зазвенели чашки и ложки, горшки и плошки. По избам шум пошел, рассказы-разговоры. Вспоминали, кому как жилось, кому что видеть, слышать, вынести довелось за это время, чего ожидали, чего дождались... Когда перекусили и чаю напились, местами наладили в чехарду, и можно было подумать, что собрались тут ребята не после боя, а на гулянку из дальних и из ближних деревень в какой-нибудь торжественный престольный праздник...

Вечером в полку Стеньки Разина собрался хор. Певцов было человек двадцать пять, у многих и голоса были отличные, да вот беда — всё бои, походы, спеваться-то

некогда! А охота попеть была настолько сильной, что на каждой остановке, где хоть чуточку можно дохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова, вокруг любимого и почтенного своего дирижера... И начиналось пение. Подступали, окружали любители и охотники, а потом набиралась едва ли не половина полка... Тут уж кучкой было петь невозможно — затягивали такую, что знали все, и полк сливался в дружной песне... Пели песни разные, но любимыми были про Стеньку Разина и Ермака Тимофеевича. Были и веселые, плясовые. Какой-нибудь замысловатый фальцетик, подмигивая хитро и сощурившись лукаво, заводил на высочайшей ноте:

Уж ты, Дуиюшка-Дуия!
Уж ты, Дунюшка-Дуня...

Хор подхватывал волнами зычных голосов:

Ах ты, Дуия-Дуня-Дуня,
Дуня, Дуиюшка, Дуияша!..

В такт хлопали ладошами, отбивали каблуками, но это еще «бег на месте». Второй куплет не выдерживали, и как только подхватят:

Ах ты, Дуия-Дуия-Дуия...

откуда ни возьмись, на середину выскакивают разом два-три плясуна, и пошла рвать... Пляшут до семи потов, до одурения, почти до обморока... Одни за другими, одни за другими...

Песен мало — явится гармошка... Пляс и гармошка зачастую вытесняют хор, но больше потому, что уже напелись, перехрипли петухами...

Особо хлестко плясала полковая «интеллигенция» — фуражиры, каптеры, канцеляристы... Но не уступали им и батальонные и ротные командиры — тоже плясали лихо!

Часто перемежались. Поют-поют, не станет мочи — плясать начнут. Перепляшутся до чертиков, вздохнут — да опять за песни, и так насколько хватит глотки и ног.

За последние месяцы привились две новые песни, где больше всего нравились припевы,— их пели с величайшим подъемом и одушевлением. Мотивы старые, а слова заново. Первый припев таким образом был сработан из старого:

Так громче, музыка, играй победу,
Мы победилн, и враг бежит-бежнт-бежит...

Так за Совет Народных Комиссаров
Мы грянем громкое ура-ура-ура!

Второй припев обошел всю Красиую Армию:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем в борьбе за это...

Слова тут пелись иичего ие значащие — хорошая песия еще ие появилась, ио припев... припев пели удивительио.

— А ну, «вечиую память»,— предлагает кто-то из толпы.

Певцы многозиачительио перегляиулись:

— Разве и в самом деле спеть?

— А то што...

— Запевалу давай сюда, запевалу!

Протискался высочеииый, сутулый, рябоватый детииа.

Встал он посередке толпы и без дальиейших разговоров захрипел густейшим басом:

— Благодеиствеииое и мириое житие, здравие, спасение и во всем благое поспешеиие, иа врага победу и одолеиие подаждь, господи!

Он остаиовился, гляиул кругом, как будто говорил: «Ну, теперь вам очередь», и стоявшие заиыли протяжио:

— Го-о-о-споди, по-о-ми-луй...

— Всероссийской социалистической Красиой Армии с вождем и товарищем Лениииым,— гремел ои дальше,— геройскому комаидиому составу 25-й стрелковой и всему 218-му Стеиьки Разииа полку мио-о-огая ле-та!

Хор гряиул «миогая лета»...

— ...Артиллеристам, кавалеристам, телефоиистам, мотоциклистам, пулеметчикам, бомбометчикам, миииометчикам, аэроплаииым летчикам, разведчикам, пехотиицам, ординарцам, кашеварам, мясиикам и всему обозу мио-о-о-огая ле-е-та!

И сиова подхватили «миогая лета» — дружио, весело, зычио.

Лица у всех веселые, расплылись от улыбок, глаза торжествеиио и гордо говорят: «Не откуда-иибудь взяли — у себя в полку сложили эту песию!»

Запевала поиижеииым и еще более мрачиым тоиом выводил:

— ...Во блажеииом успеиии вечный покой подаждь, господи: сибирскому верховиому правителю, всех трудя-

щихся мучителю, его высокопревосходительству белому адмиралу Колчаку со всей его богохранимой паствою — митрополитами-иезуитами, архиепископами и епископами, бандитами, шпионами и агентами, чиновниками, золотопогонниками и всеми его поклонниками, белыми колченятами, обманутыми ребятами и прихвостнями-прихлебаками господами чехословаками... ве-е-еч-ная... па-а-а-мять!

Потянулось гнусавое, фальшивое похоронное пение. Сделалось тошно, словно и впрямь запахло дохлятиной...

— ...Всем контрреволюционерам,— оборвал поющих заканчивающий запевала,— империалистам, капиталистам, разным белым социалистам, карьеристам, монархистам и другим авантюристам, изменщикам и перегонщикам, спекулянтам и саботажникам, мародерам и дезертирам, толстопузым банкирам, от утра до ночи — всей подобной сволочи — ве-еч-ная па-амять!

Хор, а с ним и все стоявшие тут красноармейцы затянули «вечную память».

Окончив, стояли несколько мгновений молча и неподвижно, как будто ожидали чьей-то похвалы... Этим акафистом гордились в полку чрезвычайно, слушать его очень любили и подряд иной раз выслушивали по три-четыре раза.

С песнями и пляской канителились до глубокой ночи, а наутро, чуть свет,— выступать! И это ничего, что позади бессонная ночь: быстр и легок привычный шаг!

Чишму считали ключом Уфы. Дорога теперь очищена. Все говорит за то, что враг уйдет за реку и главное сопротивление окажет на том берегу Белой[1].

Еще быстрей, еще настойчивей устремились войска преследовать отступающую колчаковскую армию.

— Теперь Уфа не уйдет,— говорил Чапаев,— как бы только правая сторона не подкузьмила!

Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.

— Почему ты так уверенно? — спрашивали его.

— А потому, што зацепиться ему, Колчаче, не за што — так и покатится в Сибирь.

[1] Река, на которой стоит Уфа.

— Да мы же вот зацепились под Самарой,— возражали Чапаеву.— А уж как бежали!

— Зацепились... ну, так што? — соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил: — Ничего, што мы зацепились... а он все-таки не зацепится... Уфу возьмем...

Эта уверенность в победе была свойственна большинству, ею особенно были полны рядовые бойцы.

Когда в полках каким-нибудь образом ставился и обсуждался вопрос о близких возможностях и боевых перспективах, там был лишь один счет — на дни и часы. Никогда не говорили про живые силы, про технику врага, степень его подготовки, силу сопротивляемости. Говорили и считали только так:

«Во вторник утром будем в этом поселке, а к вечеру дойдем до реки. Если мостишко не взорван, вечером же и на тот берег уйдем... Ежели взорван, раньше утра не быть... В среду вечером должны будем миновать вот такую станцию, а в четверг...» и так далее, и так далее.

Будто шли походным маршем, не имея перед собою врага, так точно рассчитав по дням и по часам, где, когда можно и следует быть.

В расчетах ошибались редко — обычно приходили раньше предположенного срока. Да и сама Уфа взята была раньше назначенного и предположенного дня.

Быстрота движения временами изумляла. Выносливость красноармейцев была поразительна. Бойцы не знали преград и не допускали возможности, что их может что-то остановить. Чишминский бой, когда бросались с бомбами на броневые поезда, и впрямь показал, что преграды красным бойцам поставить трудно. Теперь за Чишму прислали награды.

Их надо было распределить по полкам.

Но тут получился казус. Один из геройских, особенно отличившихся полков наград не принял. Красноармейцы и командиры, которым награды были присуждены, заявили, что все они, всем полком, одинаково мужественно и честно защищали Советскую Республику, что нет среди них ни дурных, ни хороших, а трусов и подавно нет, потому что с ними разделались бы свои же ребята. «Мы желаем остаться без всяких наград,— заявили они.— Мы в полку своем будем все одинаковые...»

В те времена подобные случаи были очень, очень частым явлением. Такие бывали порывы, такие бывали высокие подъемы, что диву даешься!

На дело смотрели как-то особенно просто, непосредственно, совершенно бескорыстно.

«Зачем я буду первым? Пусть буду равным. Чем сосед мой хуже, чем он лучше меня? Если хуже, давай его выправлять, если лучше — выправляй меня, но и только».

В Пугачевском полку еще в 1918 году человек триста бойцов организовали своеобразную «коммуну». У них ничего не было своего: все имущество — одежда, обувь — считалось общим, надевал каждый то, что ему в данный момент более необходимо... Жалованье и все, что получали из дому, опять-таки отдавали в общий котел... В бою эта группа была особенно солидарна и тесно спаяна... Теперь, конечно, вся перебита или изуродована, потому что героизма была полна необыкновенного.

Отказ полка от наград был только наиболее ярким выражением той пренебрежительности к отличиям, которая характерна была для всей дивизии, в том числе и для командиров, для политических работников, больших и малых.

* * *

Бригада Еланя Чишму взяла стремительным, коротким ударом, выхватив ее у бригады Попова, которой операцию эту поручалось провести. Попов с полками шел мимо озера Лели-Куль, все время вверх по Дёме-реке, и когда пала Чишма, он был совсем неподалеку.

На фронте часто бывает, когда небольшой успех, отнятый у другого, является началом и причиной серьезной, большой катастрофы. Зарвется какой-нибудь командир, погонится за эффектом неожиданного сильного удара, отхватит часть задачи, порученной соседу, и перепутает своею победой все карты. Лучше бы ее и не было, этой победы! Победа не всегда является успехом, она может дать и худые результаты.

Когда затевается, положим, глубокий обход противника флангами, окружение и захват его целиком, в это время какая-нибудь лихая голова вдруг ударяет неприятеля в лоб, спугивает, перепутывает весь план действий и своей частичной «победой» наносит безусловный вред

общему, более крупному и серьезному замыслу. Так могло получиться и теперь, когда Елань влетел в Чишму, а в тылу у него, на берегу Дёмы, остались неприятельские полки. Они его могли потрепать ощутительно, если бы вовремя со своей бригадой не подоспел Попов. Взаимопомощь в Чапаевской дивизии была развита до высокой степени, и каждая часть настойчиво и быстро помогала другой.

Не всегда и не везде так бывало, наблюдалось и обратное. Результаты неизменно от этого были тяжкие.

Попов, как только уяснил обстановку, немедленно вступил с неприятелем в бой, отвлек на себя все его внимание и, пользуясь замешательством в его рядах, жал и жал к реке. Артиллерийская канонада была настолько жарка, что целых три орудия выбыли из строя. Неприятеля угнали за Дёму. Уходя, он взорвал все мосты, на возврат, видимо, не рассчитывая, и сломя голову мчался к Белой. Тут остановок не было серьезных — Чишма была последним пунктом, где колчаковские полки на что-то рассчитывали до Уфы, а дальше настроение у них, видимо, переменилось глубоко и невозвратно; дальше был только организованный отход, без серьезных попыток на этом берегу дать начало «перелому», про который там еще не переставали говорить и на который надеялись так же, как надеялось когда-то под Бузулуком и Бугурусланом красное командование.

XII. УФА

Неприятель ушел за реку, взорвал все переправы и ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами орудий, пулеметными глотками, штыками дивизий и корпусов. Силы там сосредоточились большие: с Уфимским районом Колчак расставаться не хотел и с выигрышных высот правого берега Белой он, казалось, командовал над наступавшими с разных сторон красными дивизиями.

Уфу предполагалось брать в обхват. Дивизиям правого фланга дана была задача выйти в неприятельский тыл, к заводу Архангельскому, но затруднительность движения им не позволила переправить на Белую еще ни одного бойца к тому моменту, когда другие уже вплотную подступили к берегу.

Против Уфы выросла Чапаевская дивизия. Она своим правым флангом, бригадой Попова, застыла над огромным мостом, идущим высоко над рекой прямо в город, левый же фланг отскочил до Красного Яра, небольшого селеньица верст за двадцать пять вниз по Белой,— сюда подошли бригады Шмарина и Еланя.

Когда у Красного Яра переправятся части и пойдут на город, поповская бригада должна будет поддержать их, переправившись у моста. Он был еще цел, огромный чугунный мост, но никто не верил, что неприятель оставит его нетронутым; предполагали, что мост непременно должен быть минирован и поэтому переправляться по нему не следует. Идущий с высокой насыпи по мосту железнодорожный путь был местами разобран, а посередине втиснулось несколько вагонов, груженных щебнем и разным мусором. Переправляться было здесь пока совершенно не на чем, это уже впоследствии раздобыли откуда-то бойцы несколько лодок, приволокли бревна и доски и увязали их в жиденькие подвижные плоты.

Главный удар намечался все-таки со стороны Красного Яра. Вынеслась на берег кавалерия Вихоря. Недалеко от Красного Яра по Белой преспокойно тянулись буксир и два небольших пароходика. Публика была самая разнообразная, а больше всего, конечно, военных, из них десятка три офицеров. Непонятна, удивительна была эта беспечность — словно и не думали люди о возможности налета с берега или же и вовсе не знали того, что так близко красные полки. Кавалеристы рты разинули, когда увидели на палубе «господ» в погонах. Офицеры сразу тоже не разобрались — за своих, верно, приняли.

— Стой! — прокомандовали с берега.

— Зачем вставать? — крикнули и оттуда.

— Остановите пароходы, огонь откроем!.. Причаливай к берегу! — кричали кавалеристы.

Но там поняли, в чем дело, попытались ускорить ход, думали прокатить к болотам, куда по берегу кавалерии не дойти... Лишь это заметили кавалеристы, грозно заревели:

— Останови, останови!!!

Пароходы продолжали идти. С палубы раздались первые выстрелы. Кавалерия отвечала. Завязался неравный бой. Подскочили с пулеметом, зататакали. На пароходах взвыли, стремглав слетели вниз, прятались где могли. Пароходы причаливали. Офицеры не хотели сдаться живыми — почти все перестрелялись, бросались в волны... Эти пароходики были сущим кладом — они сыграли колоссальную роль в деле переправы через Белую красных

полков и сразу облегчили то затруднительное положение, с которым столкнулось красное командование. Пароходики припрятали, не давали неприятелю узнать, что в руки попала такая драгоценность.

За два дня до наступления Фрунзе, Чапаев и Федор приехали туда на автомобиле и сейчас же созвали совещание командиров и комиссаров, чтобы выяснить все обстоятельства и особенности наличной обстановки, учесть и взвесить все возможности, еще и еще раз подсчитать свои силы и шансы на успех.

У Фрунзе есть одна отличная черта, которая прежде всего ему же самому и помогает распутывать самые, казалось бы, запутанные и сложные дела: он созывает на товарищеское совещание всех заинтересованных, ставит им ребром самые главные вопросы, отбрасывая на время второстепенные, сталкивает интересы, вызывает прения, направляет их в надлежащее русло. Когда окончена беседа, самому Фрунзе остается подсчитать только обнаруженные шансы, прикинуть, координировать и сделать неизбежный вывод. Прием этот, казалось бы, очень прост, но удается он не каждому; во всяком случае, сам Фрунзе владел им в совершенстве.

Когда теперь в Красном Яру собрались вожди дивизии, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иваново-Вознесенский полк. Этот выбор был сделан не случайно. Полки бригады Еланя покрыли себя бессмертною победной славой, они были в отношении боевом на одном из первых мест, но для данного момента надо было остановиться на полку высокосознательных красных ткачей — здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно.

Совещание окончилось. Вскочили на коней, поскакали к берегу, откуда должна была начаться переправа. Коней оставили на полверсты, а сами пешком пошли по песчаному откосу, посматривая на тот берег, ожидая, что вот-вот поднимется пальба. Но было тихо. Забрались на косогор и оттуда в бинокль рассматривали противоположный берег, облюбовали место, окончательно и точно договорились о деталях переправы и уехали обратно. Вскоре к месту ожидаемой переправы пригнали два

пароходика; третий стоял на мели. Стали погружать топливо, сколачивать подмостки.

Задержались еще на целые сутки. Уж близки решительные часы... Условились так, что переправою у Яра будет руководить сам Чапаев, а Федор поедет к мосту где раскинулась поповская бригада, и будет направлять эту операцию вплоть до вступления в город. Разъехались.

* * *

Уже с вечера на берегу у Красного Яра царило необычайное оживление. Но и тишина была для таких случаев необычайная. Люди шныряли, как тени, сгруппировывались, таяли и пропадали, собирались снова и снова таяли,— это готовился к переправе Иваново-Вознесенский полк. На пароходики набивали народу столько, что дальше некуда. Одних отвозили — приезжали за другими, снова отвозили — и снова возвращались. Так во тьме, в тишине перебросили весь полк. Уж давно миновала полночь, близился рассвет.

В это время батареи из Красного Яра открыли огонь. Били по ближайшим неприятельским окопам, замыкавшим ту петлю, что в этом месте делает река. Ударило разом несколько десятков орудий. Пристрелка взята была раньше, и результаты сказались быстро. Под таким огнем немыслимо было оставаться в окопах — неприятель дрогнул, стал в беспорядке перебегать на следующие линии. Как только об этом донесли разведчики, артиллерия стала смолкать, а подошедшие иваново-вознесенцы пошли в наступление — и погнали, погнали вплоть до поселка Новые Турбаслы. Неприятель в панике отступал, не будучи в состоянии закрепиться где-нибудь по пути. На плечах бегущих вступили в Турбаслы иваново-вознесенцы... Здесь остановились — надо было ждать, пока переправится хоть какая-нибудь подмога: зарываться одному полку было крайне опасно. Закрепились в поселке. А пугачевцы тем временем наступали по берегу к Александровке...

Грузились разинцы и домашкинцы — они должны были немедленно двигаться на подмогу ушедшим полкам. Переправились четыре броневика, но из них три разом перекувырнулись и застряли на шоссе; их потом поднимали кавалеристы и поставили на ноги, пустив в дело.

Тем временем неприятель, отброшенный кверху, оправился и повел наступление на Иваново-Вознесенский полк. Было уже часов семь-восемь утра. Пока стояли в Турбаслах и отстреливались от демонстративных атак, пока гнали сюда, за поселок, неприятеля, ивановцы расстреляли все патроны и теперь оставались почти с пустыми руками, без надежды на скорый подвоз, помня приказ Еланя, командовавшего здесь всею заречной группой:

«Не отступать, помнить, что в резерве только штык!»

Да, у них, у ткачей, теперь, кроме штыка, ничего не оставалось. И вот, когда вместо демонстративных атак неприятель повел настоящее широкое наступление, дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Теперь полком командовал наш старый знакомый — Буров: его из комиссаров перевели сюда. Комиссаром у него Никита Лопарь. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать все равно некуда — позади река, перевозить нельзя, что надо стать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать. В это время к цепям подскакало несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это — Фрунзе, с ним начальник политотдела Траллин, несколько близких людей... Он с винтовкой забежал вперед: «Ура! Ура! Товарищи! Вперед!!» Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный! Редко-редко стреляли, патронов было мало, неслись со штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали... Елань своих ординарцев послал быть неотлучными около Фрунзе, наказал:

— Если убьют, во что бы то ни стало вынести из боя и сюда — на переправу, к пароходу!

На повозках уже гнали от берега патроны: их подносили ползком, как только цепи полегли за Турбаслами. Когда помчались в атаку, прямо в грудь пуля сбила Траллина; его подхватили и под руки отвели с поля боя. Теперь на том месте, где была огнестрельная ранка, горит у него орден Красного Знамени.

Перелом был совершен, положение восстановлено. Фрунзе оставил полк и поехал с Еланем к другому полку, к пугачевцам. Взбирались на холмики, на пригорки, осматривали местность, совещались, как лучше развивать операцию, вновь и вновь разучивали карту, всматривались пристально в каждую точку, сравнивали с тем, что видели здесь на самом деле. Пугачи продолжали идти по берегу. Стали подходить разинцы и батальоны Домашкинского полка; они выравнивались вдоль шоссе. В полдень был отдан приказ об общем дальнейшем наступлении. Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разинцы и батальоны Домашкинского — в центре, а с крайнего левого фланга — иваново-вознесенцы; они уже заняли к тому времени Старые Турбаслы и стали там на передышку. Как раз в это время показались колонны неприятельских полков; они с севера нависали ударом мимо иваново-вознесенцев — в центр группы, готовой к наступлению.

— Это, может быть, стада — предполагали иные.

— Какие стада, когда штыки сверкают! — замечали им.

Видно ли было сверканье штыков, сказать нельзя, но уж ни у кого не было сомнения, что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть будет очень многое. Фрунзе хотел участвовать и в этой схватке, но Елань упросил, чтобы он ехал к переправе и ускорил переброску полков другой дивизии. Согласились, что это будет лучше, и Фрунзе поскакал к переправе. Скоро под ним убило лошадь и самого жестоко контузило разорвавшимся поблизости снарядом. Но, и будучи контужен, он не оставил работы на берегу — подгонял, помогал советом, переправил туда часть артиллерии.

Прежде всех подвел к Иваново-Вознесенскому полку батарею Хребтов. Он встал позади цепей и в первом же натиске неприятельском, когда застыли цепи в состоянии дикого, окостенелого выжидания, открыл огонь. И бойцы, заслышав свою батарею, вздрогнули весело, пошли вперед...

Наступление развить не удалось — на разинцев и домашкинские батальоны навалилась грудью вся та огромная масса, что двигалась с севера. Слишком неравные были силы, слишком трудно было удержать и перебороть

этот натиск. Разинцы дрогнули, отступили. В одном батальоне произошло замешательство — там было мало старых бойцов, больше свежей, непривыкшей молодежи; этот батальон сорвался с места н помчался к берегу, за ним кинулнсь отдельные бойцы других батальонов. Остальные медленно отступали, отбиваясь от наседавшего неприятеля. Иваново-вознесенцы задержались под Турбаслами. Теперь часть неприятельских снл обратилась на них. Елань подскакал к Хребтову:

— Разинцы, Хребтов, отступают, надо помогать! Поверни орудня, бей правее по тем частям, что преследуют отступающих!..

И Хребтов повел обстрел. Верный глаз, смекалка и мастерство испытанного, закаленного артиллериста сделали чудо: снаряд за снарядом, снаряд за снарядом — и в самую гущу, в самое сердце неприятельских колонн... Там растерялись, остановили преследование, задержались на месте, понемногу стали отступать, а огонь все крепчал, снаряды все чаще, все так же верно ложились и косилн неприятельские ряды. Наступление было остановлено. Разинцы встрепенулись, ободрились... В это время Чапаеву на том берегу помогал при переправе Михайлов. Когда он увидал, что к берегу сбежалась масса красноармейцев, понял, что дело неладно, побежал к Чапаеву, хотел доложить, но тот уже все знал — только что по телефону обо всем переговорил с Еланем.

Только заикнулся Михайлов рассказать ему, что видел, а Чапаев уж приказывает:

— Михайлов, слушай! Только сейчас погрузили мы батальон еще... Туда нужны силы... Этого мало... Надо отогнать этих с берега... Понял? От них — одна гибель. Поезжай, возьми нх обратно за собой. Понял?

— Так точно!

И Михайлов уж на том берегу. Разговор у него короток, да н нет времени разговаривать. Иных бегущих плеткой, иных револьвером задержав, остановил, крикнул:

— Не смей бежать! Куда, куда бежите? Остановись! Одно спасение — идти вперед! За мной, чтобы ни слова! Кто попытается бежать — пулю в голову! Сосед, так его и стреляй! За мной, товарищи, вперед!!!

Эти простые и так нужные в ту минуту слова разогнали панику. Бежавшие остаиовились, перестали метаться по

берегу, сгрудились, смотрели на Михайлова и недоуменно, и робко, и с надеждой: «А не ты ли и вправду спасешь нас, грозный командир?»

Да, он их спас. В эти мгновенья иначе как плетью и пулей действовать было нельзя. Он взял их, повел за собою. Построил как надо, толпу снова превратил в организованное войско. И теперь, когда подходил с ними навстречу отступавшим двум разинским батальонам и домашкинцам, те вздрогнули радостью, закричали:

— Пополнение идет, пополнение!

В такие минуты ошибку рассеять было бы преступлением,— их так и уверили, что тут показалось действительно пополнение. Батальонцы повернулись, пошли в наступление... Но победы здесь не было. Только-только удалось неприятеля отогнать, и когда отогнали, главные силы его загнали на Иваново-Вознесенский полк. Он очутился под тяжким ударом, но выдержал одну за другою четыре атаки нескольких неприятельских полков. Здесь героизм и стойкость были проявлены необыкновенные. Выстояли, выдержали, не отступали, пока не подошли на помощь свои полки и облегчили многотрудную обстановку...

Ушедших по берегу пугачевцев, чтобы не дать им оторваться, надо было оттянуть обратно. Когда приказание было отдано и они стали отходить, молчавший и, видимо, завлекавший их неприятель открыл одну за другою ряд настойчивых атак. Пугачевцы отступали с потерями... Схватывались, отбивались, но в контратаку не ходили — торопились скорее успеть на линию своих полков.

И когда все части снова были оттянуты к шоссе, сюда пришло известие о том, что Чапаев ранен в голову, что Еланю поручается командование дивизией... Тяжелая весть облетела живо полки, нагнав на всех тяжелое уныние... Вот и не видели бойцы здесь, в бою, Чапаева, а знали, что тут он, что все эти атаки, наступления и отходы, что все это не мимо него совершается.

И как бы трудно ни было положение, верили они, что выход будет, что трудное положение минует, что такие командиры, как Чапаев и Елань, не заведут на гибель.

Узнав про чапаевское ранение, все как-то сделались будто тише и грустней... Наступление к тому времени

уже остановилось, сумерки оборвали перестрелку. Затихло все. Над полками тишина. Во всех концах стоят сторожевые охранения, всюду высланы дозоры. Полки отдыхают. Наутро, перед зарей, назначено общее наступление.

* * *

Находясь при переправе, Чапаев каждые десять минут сносился телефоном то с Еланем, то с командирами полков. Связь организована была на славу. Без такой связи операция проходила бы менее успешно. Чапаев все время и всегда точно знал обстановку, складывавшуюся за рекой. И когда там начинали волноваться из-за недостатка снарядов или патронов, Чапаев уже знал эту нужду и первым же пароходом отсылал необходимое. Неизменно справлялся о настроении полков, об активности неприятеля, силе его сопротивления, о примерном количестве артиллерии, о том, много ли офицеров, что за состав войска вообще,— все его занимало, все он взвешивал, все учитывал. Он нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами,— все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент. Смутили его на время неприятельские аэропланы, но и тут не растерянность, а злоба охватила: у наших летчиков не было бензина, они не могли подняться навстречу неприятельским. Громы-молнии помочь здесь не могли, так свои аппараты и остались бездействовать. Пришлось всю работу на берегу проводить под разрывами аэропланных бомб, под пулеметным обстрелом с аэропланов... Но делать было нечего... Скоро орудийным огнем заставили неприятельских летчиков подняться выше, но улететь они не улетели. Этот обстрел с аэропланов нанес немало вреда. Во время этой стрельбы ранило и Чапаева; пуля пробила ему голову, но застряла в кости... Ее вынимали — и шесть раз срывалась. Сидел. Молчал. Без звука переносил мученье. Забинтовали, увезли Чапаева в Авдонь — местечко верстах в двадцати от Уфы.

Это было к вечеру 8-го, а на утро 9-го было назначено наступление.

* * *

Упорная работа на берегу, исключительная заслуга артиллеристов, отличная постановка связи, быстрая, энергичная переброска на пароходах — все это говорило о той слаженности, о той организованности и дружной настойчивости, с которою вся операция проводилась. Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась коллективная воля к победе. Она просвечивала в каждом распоряжении, в каждом исполнении, в каждом отдельном шаге и действии командира, комиссара, рядового бойца...

Поздно вечером к Еланю привели перебежчика-рабочего. Он уверял, что утром рано пойдут в атаку два офицерских батальона и Каппелевский полк; они пойдут на пугачевцев, чтобы, пробив здесь брешь, отрезать остальные полки и, окружив, уничтожить при поддержке других своих частей, остановившихся севернее. Рабочий клялся, что сам он с Уфимского завода, что сочувствует Советской власти и перебежал, рискуя жизнью, исключительно с намерением предупредить своих красных товарищей о грозящей опасности. Сведения получил он совершенно случайно, работая в том доме, где происходило совещание. Он клялся, что говорит правду, и чем угодно готов был ее подтвердить. И верили ему — и не верили. На всякий случай свое наступление Елань отсрочил на целый час. Усилил дозоры. Приготовились встретить десятками пулеметов. Рабочего взяли под стражу, объявили ему, что будет расстрелян, если только сведения окажутся ложными и никакого наступления белых не произойдет...

Мучительно долго тянулась ночь. В эту ночь из командиров почти никто не спал, несмотря на крайнюю усталость за минувший страдный день. Все были оповещены о том, что́ рассказал рабочий. Все готовы были встретить врага. И вот подошло время...

Черными колоннами, тихо-тихо, без человеческого голоса, без лязга оружия шли в наступление офицерские батальоны с Каппелевским полком... Они раскинулись по полю и охватывали разом огромную площадь. Была, видимо, мысль — молча подойти вплотную к измученным, сонным цепям и внезапным ударом переколоть, перестрелять, поднять панику, уничтожить...

Эта встреча была ужасна... Батальоны подпустили вплотную, и разом, по команде, рявкнули десятки готовых пулеметов... Заработали, закосили... Положили ряды за рядами, уничтожили... Повскакали бойцы из окопов, маленьких ямок, двинулись вперед. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике каппелевцы — их преследовали несколько верст... Этот неожиданный успех окрылил полки самыми радужными надеждами.

Рабочего из-под стражи с почестями отправили в дивизию, из дивизии, кажется, в армию...

Про всю эту историю Елань потом подробно рассказывал Федору (тот был у моста с бригадой Попова); рассказывал и о том, что дальше, после такого успеха, части шли победоносно и безостановочно; вечером 9-го были уже под самой Уфой.

* * *

Разъехавшись с Чапаевым, Федор с несколькими товарищами поехал в ту сторону, где была расположена бригада Попова. Песчаную Уфимскую гору со стороны Авдоня было видно еще верст за двадцать; по скату точками чернели строения, высоким столбом торчала каланча, горели на солнце золотые макушки церквей. Проскакали быстро, выехали на широкую поляну. Сюда неприятель доставал уже артиллерийским обстрелом, поляна была перед ним как на ладони, и как только он замечал здесь движение, открывал огонь. Гурьбою не поехали, разбились гуськом, друг от друга шагов на семьдесят, и один за одним быстро-быстро поскакали к штабу бригады. Переехали полотно железной дороги; здесь валялось по бокам и стояло на рельсах много сожженных, разбитых, поломанных вагонов. Била откуда-то из-за пригорка артиллерия по Уфе, за лесом татакали говорливые пулеметы.

Приехали к Попову. Он остановился на крошечном полустанке, верстах в двух-трех от берега. Происходило как раз совещание командиров — выискивали лучшие способы переправиться на тот берег... Порешили переправу ставить в полнейшую зависимость от продвижения двух других бригад и не поддаваться ни на какие соблазны —

броситься, положим, через мост, относительно которого почти общее было мнение, что он подготовлен к взрыву. Потолковали о средствах переправы — их не было. Принялись за поиски этих средств и кой-что действительно разыскали.

На самом берегу Белой стоят две будки-избушки; там поставили телеграф, провели телефонные провода. В траве, на берегу, по обе стороны от моста залегли полки. Сзади их, за леском, остановились батареи. В эту же ночь решили прощупать неприятеля, узнать окончательно про мост, действительно, мол, минирован или нет (в бригаду поступили сведения, что уфимские рабочие не дают белым войскам ни взрывать этот мост, ни готовить его ко взрыву). В одиннадцать часов, когда будет совсем темно, должен прибыть головной отряд рабочих; они вызываются чинить мост, загроможденный вагонами, и поправить разобранный путь... Вот уже одиннадцать, двенадцать, час... Отряда все нет! Он явился только в третьем, когда начинали уже редеть предрассветные сумерки... И лишь только стало известно, что близко отряд, артиллерия из-за леска стала ему «расчищать» дорогу к работе — батареи разом открыли огонь по берегу, пытаясь выбить неприятеля из первой линии окопов, навести панику, отвлечь внимание от рабочего отряда. Но в расчетах ошиблись. Неприятель на огонь артиллерии ответил еще более частым, жарким огнем, и как только стукнул по рельсам первый молоток, с берега заухали тяжелые орудия. Прицел у врага великолепный, выверенный до точности,— видно было, что в ожидании красных гостей белые войска практиковались здесь изрядно и серьезно готовились к встрече. Первые два снаряда упали возле переднего каменного столба, как бы только нащупывая нужное место и указывая огненными вехами, где должен упасть третий. Указано было точно: третий снаряд ухнулся как раз на шпалы первого пролета. С грохотом полопались рельсы, во все стороны полетели осколки шпал. Рабочие шарахнулись назад... Им так и не удалось пробраться к темневшим впереди вагонам... Лишь только успели они отскочить, как началась торопливая меткая стрельба по цели. Снаряды падали все время на мосту, как раз на шпалы и рельсы, и быстро изуродовали путь. Отряд оттянули за будку, потом

его снова вернули, и работа хотя и с перерывами, но подвигалась.

Когда стрельба перенеслась за мост, Федор, Зоя Павловна, две санитарки да человек двадцать бойцов забрались по лестнице, приткнулись на ступеньках, расположились по склону насыпи... Вдруг над головами ахнул разрыв, и все они кубарем покатились вниз. На этот раз счастливо — ранило только двоих; санитарки их тут же перевязали, но ребята не ушли, остались на месте. Когда вскочили с земли, кинулись инстинктивно к будке и спрятались за нее, прижавшись к стене... Снаряды визжали и храпели, стонали, метались над головой, а когда рвалась шрапнель, осколки засыпали избушку, стучали по крыше, то ее пробивали, то соскакивали оттуда и шлепались на землю у самых ног. Первое время будто окостенели, стояли полумертвые, в молчании. Свои снаряды тоже мчались из-за опушки над самой головой, и все жадно слушали их пронзительный визг и свист, а еще более чутко вслушивались, когда летел неприятельский снаряд.

«Сюда или дальше?» — сверлила каждого жуткая мысль.

А визг приближается, усиливается, переходит в страшный, пронзительный скрежет... Будто какие-то огромные чугунные пластины трут одну о другую все быстрее, все быстрее, и они верезжат, и стонут, и скрежещут своим невыносимым чугунным скрежетом...

«Над нами э т о т или пролетит?»

И вдруг визг уже совсем над головой. Вот он пронизал мозги, застыл в ушах, пронесся ураганом по мышцам, по крови, по нервам, заставил дрожать их частой, мелкой дрожью. И все невольным быстрым движением втягивают в плечи головы, сгибаются на стороны, еще теснее жмутся друг к другу, лица закрывают руками, как будто ладони спасут от раскаленного стремительного снаряда... Оглушительный удар... Все вздрогнут и так, в окостенении, не дернув ни одним членом, стоят целую минуту, как бы ожидая, что за разрывом последует что-то еще, и даже более страшное, чем этот ужасный удар. По крыше бьются осколки: они шуршат в листве деревьев, ломают сучья, шлепаются на землю, заметая быстрые, короткие вихри. Секунды затаенного дыхания, гробового молчания, а

потом кто-нибудь двинется и все еще нетвердым голосом пошутит:

— Пронесло... Закуривай, ребята...

Удивительное дело, но после этих ужасных мгновений разговор возобновляется почти всегда шуткой и почти никогда ничем другим. Потом замолкнут и снова стоят, ждут новых разрывов. Так целые долгие часы, до рассвета... Несколько раз прибегал Попов из соседней избушки, забегал к нему туда Федор, а потом отправлялся снова на дежурство... Все-таки не оставляла дерзкая мысль: если удастся определить, что мост совершенно цел, ворваться в город хотя бы одним полком и одною внезапностью налета навести панику, помочь идущим от Красного Яра бригадам...

Как только рассвело, пальба прекратилась... Перебрались на полустанок, где расположился штаб. Измученные бессонной ночью, быстро позасыпали. А в сумерки — снова к мосту и снова стали нащупывать: цел или нет? Разведчики дошли уже до половины, но их заметили, обстреляли пулеметным огнем... Федор с комиссаром полка тоже пошел к вагонам на мосту. Продвинулись они шагов на двести и запели «Интернационал»... По-видимому, странное чувство испытывали колчаковские солдаты — они не стреляли. Федор что было мочи крикнул с моста:

— Товарищи!..

И как только крикнул, снова заработали пулеметы. Припали на рельсы и поползли... Обошлось благополучно. Они добрались до последнего пролета, поднялись, по лестнице спустились к избушке. Пошли по берегу, где залегли цепи... По траве во все стороны разбросались бойцы; иные отползли в лес, там покуривали, собирались небольшими кучками; другие на животе маршировали к воде, наполняли котелки, возвращались и опоражнивали один за другим, попивая вприкуску с хлебом, передавая друг другу... Можно было увидеть, как то и дело спускались они вниз по берегу, пряча голову в острой и жесткой осоке, перед самым носом покачивая полным до краев котелком.

Эта ночь была такая же, как накануне. Пришли сведения, что две бригады уже продвинулись на том берегу от Красного Яра; значит, и здесь наступает что-то реши-

тельное. Одна за другой пытаются разведки проникнуть на тот берег или хотя бы к вагонам, загородившим путь, но неприятель зорко охраняет все щели, все дыры, где только можно было бы проникнуть... Ночь темная-темная... Там, на берегу, лишь слабые огни — ничего не видно, что делается у врага. Около двух часов утихла артиллерия... Тишина воцарилась необыкновенная... Чуть забрезжил рассвет...

И вдруг со страшным грохотом взорвался мост, полетели в воду чугунные гиганты, яркое пламя заиграло над волнами... Стало светло как днем...

Все стоявшие у избушки повскакивали на насыпь и всматривались через реку — так хотелось узнать, что же там творится у врага. И почему именно теперь, в этот час, он уничтожил чугунного великана? Значит, что-то неладно... Может быть, уж отступают? Может быть, и бригады уж близко подошли к Уфе?

Всеми овладело лихорадочное нетерпение... Шли часы. И лишь стало известно, что бригады в самом деле идут к городу, была отдана команда переправляться. Появились откуда-то лодки, повытащили из травы и спустили на воду маленькие связанные плоты, побросали бревна, оседлали их и поплыли...

Неприятель открыл частую беспорядочную пальбу. Видно было, что он крайне обеспокоен, а может быть, и в панике. Артиллерия усилила огонь, била по прибрежным неприятельским окопам. По одному, по двое, маленькими группами всё плыли да плыли под огнем красноармейцы, доплывали, выскакивали, тут же в песке нарывали поспешно бугорки земли, ложились, прятали за них головы, стреляли сами...

Прожигало крепко полуденное солнце. Смертная жара. Пот ручьями. Жажда.

И все ширится, сгущается, растет красная цепь. Все настойчивее огонь, и все слабей, беспомощней сопротивление. Враг деморализован.

«Ура!..» Поднялись и побежали... Первую линию окопов освободили, выбили одних, захватили других, снова залегли... И тут же с ними лежали пленные — обезоруженные, растерявшиеся, полные смертельного испуга. Так, перебежка за перебежкой,— все дальше от берега, все глубже в город.

С разных концов входили в улицы красные войска... Всюду огромные толпы рабочих; неистовыми криками выражают они свою бурную радость. Тут и восторги, приветствия доблестным полкам, и смех, и радостные неудержимые слезы... Подбегают к красноармейцам, хватают их за гимнастерки — чужих, но таких дорогих и близких,— похлопывают дружески, крепко пожимают руки... Картины непередаваемой силы!

Засаленные блузы шпалерами выклеили улицы, они впереди толпы; все это счастье победы — главным образом счастье для них...

Но сзади блуз и рубах по тротуарам, по переулкам, на заборах, в открытых окнах домов, на крышах, на деревьях, на столбах — здесь все граждане освобожденной Уфы, и они рады встретить Красную Армию. Те, которые были крепко не рады, ушли вон за Колчаком. Полками, полками, полками проходят красные войска. Стройно, гордо поблескивая штыками, идут спокойные, полные сознания своей непобедимой силы. Не забудешь никогда это мраморное, величавое спокойствие, что застыло в их запыленных, измученных лицах.

Сейчас же, немедленно и прежде всего — к тюрьме. Остался ли хоть один? Неужели расстреляли до последнего? Распахиваются со скрежетом на ржавых петлях тяжелые тюремные двери... Бегут по коридорам... к камерам, к одиночкам... Вот один, другой, третий. Скорее, товарищи, скорее вон из тюрьмы! Потрясающие сцены! Заключенные бросаются на шею своим освободителям, наиболее слабые и замученные не выдерживают, разражаются истерическими рыданиями...

Здесь так же, как и за стенами тюрьмы,— и смех и слезы радости. А мрачный тюремный колорит придает свиданию какую-то особенную, глубокую и таинственную силу...

Убегая от красных полков, не успели белые генералы расстрелять остатки своих пленников... Но только остатки...

Уфимские темные ночи да белые жандармы Колчака — только они могут рассказать, где наши товарищи, которых угрюмыми партиями невозвратно и неизвестно куда уводили каждую ночь. Оставшиеся в живых рассказывали потом, какая это была мучительная пытка — жить

в чаду поганых издевательств, бессовестного и тупого глумления офицерских отбросов, и каждые сумерки ждать своей очереди в наступающую ночь...

Как только освободили заключенных, всюду расставлены были караулы, по городу — патрули, на окраины — несменяемые посты.

Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов — это ведь вошла Красная Армия, скованная дисциплиной, пропитанная сознанием революционного долга...

В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений — одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе...

Пришла делегация от еврейской городской общины и поведала те бесконечные ужасы, которые за время колчаковщины вынесло здесь еврейское население.

Издевательствам и репрессиям не было границ, в тюрьму сажали без всяких причин. Ударить, избить еврея на улице какой-нибудь золотопогонный негодяй считал и лучшим и безнаказанным удовольствием...

— Если будете отступать,— говорил представитель общины,— все до последнего человека уйдем с вами... Лучше голая и голодная Москва, чем этот блестящий и сытый дьявольский кошмар.

В тот же день еврейская молодежь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной Армии.

Политический отдел дивизии развернул широчайшую работу. В первые же часы были в огромном количестве распространены листовки, объяснявшие положение. По городу расклеены были стенные газеты, а с утра начала регулярно выходить ежедневная дивизионная газета. Во всех концах города непрерывно, один за другим, организовывались летучие митинги. Жители встречали ораторов восторженно, многих тут же, на митингах, качали, носили на руках — не за отличные ораторские качества, а просто от радости, от избытка чувств. Большой городской театр заняли своею труппой; тут всю работу уж проводила неутомимая Зоя Павловна — она возилась с декорациями, раздобывала по городу костюмы, хлопотала с постановками, играла сама. Театр был все время битком набит

красноармейцами. Уже через несколько дней, когда раненый Чапаев приехал в город и пришел в театр, он от имени всех бойцов приветствовал со сцены Зою Павловну, поднес ей букет цветов, и весь огромный зал свою любимую работницу приветствовал громом криков и отчаянным хлопаньем в ладоши,— это была ей лучшая и незабываемая доселе награда от красных солдат.

Город сразу встряхнулся, зажил новой жизнью. Об этом особенно говорили те, которым тускло и трудно жилось при офицерских «свободах».

XIII. ОСВОБОЖДЕНИЕ УРАЛЬСКА

Уральск долго был обложен казачьим кольцом — вплоть до подхода Чапаевской дивизии, его освободительницы. Героическая его защита войдет в историю гражданской войны блестящей страницей. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду, много раз и с высокой доблестью отражали налеты, сами делали вылазки, дергали врага со всех сторон. Измученный гарнизон, куда влились добровольческой волной уральские рабочие, никогда не роптал ни на усталость, ни на голод, не было и мысли о том, чтобы отдаться во власть ликующего врага. Борьба шла на жизнь и на смерть. Все знали, что половины здесь быть не может и казачий плен означает фактические истязания, пытки, расстрелы... В самом городе вскрывались заговоры. Местные белогвардейцы через голову местного гарнизона ухитрялись связываться с казацкими частями, получали оттуда указания, сами доносили казацкому командованию о том, что творится в городе... Уже иссякали снаряды, патроны, подходило к концу

продовольствие, и, может быть, скоро пришлось бы красным героям сражаться одними штыками, но не пугало и это — бодро и уверенно, спокойно и мужественно было настроение осажденных. А когда долетели к ним вести, что на выручку идет Чапаевская дивизия, пропали остатки сомнений, и еще более стойко, геройски отбивались последние атаки врага.

* * *

Крупных боев по пути к Уральску не было, хотя отдельные схватки не прекращались ни на день. Казаки, знавшие чапаевские полки еще по 1918 году, не выражали большой охоты сражаться с ними лицом к лицу и предпочитали отступать, пощипывая там, где это удавалось. По дороге к станице Соболевской казаки с двумя броневиками, пустив кавалерию с флангов, пошли на Иваново-Вознесенский полк. Они рассчитывали, что под огнем броневиков дрогнут и бросятся бежать красноармейцы — тогда бы кавалерия нашла себе работу! Но вышло все как-то очень просто и даже вовсе не эффектно: цепи лежали, как мертвые, посторонились, пропустили в тыл к себе броневики, строчили по несмелой кавалерии противника.. А тем временем красная батарея все вернее, все ближе к смертоносным машинам укладывала снаряды. Чудовища воротились с тем, с чем и пришли. Тут даже и потерь вовсе не было — так просто был ликвидирован этот неприятельский натиск.

А где-то неподалеку, там же у Соболевской, окружили казаки оторвавшуюся роту красных солдат, и те почти сплошь были уничтожены. Послали на помощь новую роту — пострадала и она. Послали третью — участь одинаковая. Лишь тогда догадались, что нельзя такою крошечной подмогой оказать действительную помощь, что это — лишь напрасный перевод живых и технических сил. Послали полк, и он сделал, что требовалось, с поразительной быстротой. Когда узнал Чапаев, бушевал немало, ругался, грозил:

— Не командир ты — дурак еловый! Должен знать навсегда, что казак не воевать, а щипать только умеет. Вот и щипал: роту за ротой, одну за другой... Эх ты, цапля! Всадить бы што следовано...

* * *

Несмотря на ежедневные непрерывные схватки с казарой, полки передвигались быстро: пешим порядком верст по пятьдесят в сутки.

В станицах и селах встречали красных солдат как освободителей, выходили нередко навстречу жители, приветствовали, помогали, как умели и чем могли, делились достатками... Самому Чапаеву прием оказывался чрезвычайный — он в полном смысле был тогда «героем дня».

— Хоть одно словечко скажи,— просили его мужички,— будут еще казаки идти или ты, голубчик, прогнал их вовсе?

Чапаев усмешливо покручивал ус и отвечал, добродушный, веселый, довольный:

— Собирайтесь вместе с нами, тогда не придут.

И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная Армия, как нужна она Советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы.

Чапаеву крепко засело в голову с десяток верных, бесспорных положений, которые он частью вычитывал где-нибудь, а больше услышал в разговоре и запомнил. Например, о классовом составе нашей армии; о том, что казаки не случайно, а неизбежно являются пока в большинстве своем нашими врагами; о том, что голодному центру необходимо помогать немедленно из сытых окраин, и так далее, и так далее.

Эти положения, такие убедительные и простые, он воспринял со всей силой ясных и чистых своих мыслей, воспринял раз навсегда и бесповоротно, гордился тем, что знает их и помнит, а где-нибудь в разговоре старался вклеить непременно, будь то к делу или совсем не к делу.

Мужикам-крестьянам эти положения он развивал с особенной охотой, а слушали они его со вниманием исключительным. Иной раз и галиматью станет наслаивать всякую, но общий результат бывал всегда наилучший. Он, например, с большим трудом и совершенно неясно представлял себе крупное коллективное хозяйство, систему работы в нем, взаимоотношения между членами и прочее, сбивался нередко на «дележку», «самостоятельность» и так далее. С этой стороны путем объяснить ничего не умел,

но даже и от таких бесед получалось кое-что положительное. Он призывал к трудолюбию, протестовал против жадности и своекорыстия, против невежества и темноты, ратовал за новые, усовершенствованные способы труда в крестьянском хозяйстве. В одном селе он так красочно описывал голод фабричных рабочих, так жестоко укорял крестьян за то, что они, сытые, совсем забыли голодных своих братьев, что крестьяне тотчас же постановили открыть между собою сбор зерна для отправки в Москву. Выбрали и организаторов дела, тут же, на собрании, и поклялись Чапаеву, что отправят непременно в Москву все, что наберут, а его, Чапаева, уведомят об этом на позиции. Собрали ли они, отправили ли, неизвестно, а Чапаева оповестить им не удалось: уж недолго ему осталось жить — скоро Чапаева не стало...

Так, встречаемые радостью, приближались к цели красные полки. Скоро они были под стенами Уральска. Последний бой — и казаки бежали, разорвав кольцо. Из Уральска, верст за десять, выехали навстречу руководители осажденного гарнизона, с ними эскадрон кавалерии, оркестр музыки... Под гром «Интернационала», под радостные крики, со слезами радости на глазах встречались, обнимали один другого, хотели сразу и многое друг другу рассказать, но не могли — так переполнены были чувствами, растроганы, потрясены.

— Федя! — окликнул чей-то голос.

Клычков обернулся и увидел на высоком вороном коне Андреева. Они по-дружески расцеловались. В прекрасных светлых глазах Андреева теперь было что-то новое, чего Федор никогда прежде не замечал,— они смотрели с какой-то усиленной недоверчивостью, сурово и сухо. Можно было подумать, что он не рад даже встрече, но голос, все эти хорошие, теплые слова, что сразу были сказаны,— это все говорит про обратное. На лбу углубились морщинки, а одна, поперечная, над самой переносицей, оставалась все время неразглаженной, будто щель.

Разговорились, и Федор узнал, какое деятельное участие принимал Андреев в борьбе с предательством и заговорами, в которых, как в тенетах, мог запутаться осажденный Уральск. Круто надо было расправляться с негодяями, решительно и беспощадно. Мучительная эта борьба и наложила печать на его юношеское лицо, тяжелую, глубо-

кую, неизгладимую печать... (Скоро обстоятельства загнали Андреева в полк; там, будучи окружен, после отчаянной сечи он был в куски изрублен озверевшим врагом.)

* * *

В самом Уральске по улицам не пройти — они запружены рабочими и бойцами. Высыпало и все население.

— Слава герою! Слава Чапаеву! Да здравствуют полки Чапаевской дивизии! Да здравствует красный вождь Чапаев!

Эти радостные клики неслись по освобожденному Уральску, и трудно было Чапаеву с Федором пробираться на автомобиле через тысячные толпы, которые заполнили улицы. На Чапаева смотрели с восхищением, кричали ему громкие приветствия, бросали шапки вверх, пели торжественные победные песни... Город расцветился красными флагами, всюду расставили трибуны, открылись митинги. И когда выступал Чапаев, толпа неистовствовала, волновалась, как море в непогоду, не знала предела восторгам. Его первое слово рождало гробовую тишину, его последнее слово открывало простор новому безумному восторгу. Около автомобиля схватывали десятки рабочих рук и начинали качать, а потом, когда отъезжали, все бежали за автомобилем, будто хотели догнать, еще и еще выразить ему свою благодарность и это свежее, искреннее восхищение. Полкам почет был тоже немалый: уральцы постарались окружить их заботами и ласковым вниманием, чествовали на парадах, организовали массу всяческих увеселений, позаботились о питании, собрали и отдали им все что могли.

Торжества длились несколько дней — торжества под разрывы шрапнели! Один снаряд угодил в театральную крышу в то время, как шел спектакль. Но подобные случаи нисколько не нарушали общего торжественного настроения. Казаки ушли за реку, их надо было немедленно гнать еще дальше, чтобы не дать собраться с силами, чтобы снять угрозу с города, чтобы отдалить от них этот притягивающий магнит — Уральск. Чапаеву лучшей наградой были бы новые успехи на фронте, и потому, лишь миновали первые восторги встречи, он уже неизменно летал от полка к полку, следил за тем, как строились переправы.

Через реку налаживали мост. А за рекой были уже два красных полка, перебравшиеся на чем попало. Надо было спешить с работами, чтобы переправить артиллерию,— без нее полки чувствовали себя беспомощно, и от командиров стали тотчас поступать самые тревожные сведения. Чапаев не то на второй, не то на третий день по приезде в Уральск ранним утром отправился сам проверить, что сделано за ночь, как вообще идет, продвигается работа.

С ним пошел и Федор. По зеленому пригорку копошились всюду красноармейцы — надо было перетаскивать к берегу огромные бревна... И вот на каждое налепится без толку человек сорок, толкаются, путаются, а дело не идет... Взвалят бревно на передки от телеги, и тут, кажется, уж совсем бы легко, а кучей — опять толку не получается.

— Где начальство! — спрашивает Чапаев.

— А вон, на мосту...

Подошли к мосту. Там на бревнышках сидел и мирно покуривал инженер, которому вверена была вся работа. Как только увидел он Чапаева — марш на середину; стоит и оглядывается как ни в чем не бывало, как будто и все время наблюдал тут работу, а не раскуривал беспечно на берегу. Чапаев в таких случаях груб и крут без меры. Он еще полон был тех слезных просьб, которые поступали из-за реки, он каждую минуту помнил — помнил и болел душою, что вот-вот полки за рекой погибнут... Дорога была каждая минута... Торопиться надо было сверх сил — недаром он сам сюда согнал на работы такую массу красноармейцев, даже отдал половину своей комендантской команды. Он весь напрягся заботой об этом мосте, ждал чуть ли не ежечасно, что он готов будет, и вдруг... вдруг застает полную неорганизованность, пустейшую суету одних, мирное покуривание других...

Как взлетел на мост, как подскочил к инженеру, словно разъяренный зверь, да с размаху, не говоря ни слова, изо всей силы так и ударил его по лицу. Тот закачался на бревнах, едва не свалился в воду, весь побледнел, затрясся от страха, зная, что может быть застрелен теперь же... А Чапаев и действительно рванулся к кобуре, только Федор, ошеломленный этой неожиданностью, удержал его от расправы. Самой крепкой бранью бранил рассвирепевший Чапаев дрожащего инженера:

— Саботажники! Я знаю, што вам не жалко моих солдат! Вы всех их готовы загубить!.. Штобы к обеду был готов мост! Понял? Если не будет готов, застрелю, как собаку!..

И сейчас же инженер забегал по берегу. Там, где висело на бревне по сорок человек, осталось по трое-четверо, остальные были переведены на другую работу... Красноармейцы заработали торопливо... Заходило ходом, закипело дело. И что же? Мост, который за двое суток подвинулся на какую-нибудь четвертую часть, к обеду был готов.

Чапаев умел заставлять работать, но меры у него были исключительные и жестокие. Времена были такие, что в иные моменты и всякие меры приходилось считать извинительными; прощали даже самый крепкий, самый ужасный из этих способов — «мордобой». Бывали такие случаи, когда командиру своих же бойцов приходилось колотить плеткой, и это спасало всю часть.

Было ли неизбежным то, что произошло на мосту? Ответа дать невозможно... Во всяком случае, несомненно то, что постройка моста была делом исключительной срочности, что сам Чапаев и вызывал инженера к себе неоднократно и сам ходил, приказывал, торопил, ругался, грозил... Медлительность работ оставалась прежней.

Была ли она сознательным саботажем, была ли она случайностью — кто знает!

Но в то утро чаша терпения переполнилась — неизбежное совершилось, а мост... к обеду был готов. Вот примеры суровой, неумолимой, железной логики войны!..

* * *

Бывали у Чапаева и такие случаи, когда обнаруживалось в нем какое-то мрачное самодурство, необыкновенная наивность, граничащая с непониманием самых простых вещей.

В этот вот приезд в Уральск, может быть через неделю или полторы, как-то днем вбегают к Федору ветеринарный врач с комиссаром. Оба дрожат, у врача на глазах слезы... Трясутся, торопятся — ничего не понять. (Ветеринарные комиссары вообще народ нежный.)

— В чем дело?

— Чапаев... ругает... кричит... застрелить...

— Кого ругает? Кого хотел застрелить?

— Нас... нас обоих... Или в тюрьму, говорит, или расстреляю...

— За что же?

Федор усадил их, успокоил и выслушал странную, почти невероятную историю.

К Чапаеву из деревни приехал знакомый мужичок, известный коновал, промышлявший ветеринарным ремеслом годов восемь — десять. Человек, видимо, тертый и безусловно в своем деле сведущий. И вот сегодня Чапаев вызывает дивизионного ветеринарного врача с комиссаром, усаживает их за стол. Тут же и мужичок. Чапаев «приказывает» врачу экзаменовать в своем присутствии коновала и выдать ему удостоверение о том, что он, мужичок, тоже, дескать, может быть «ветеринарным доктором». А чтобы бумага была крепче, пусть и комиссар подпишется... Экзаменовать строго, но чтобы саботажу никакого. «Знаем,— говорит,— мы вас: ни одному мужику на доктора выйти не даете».

— Мы ему говорим, что так и так, мол, экзаменовать не можем и документа выдать не имеем права. А он как вскочит, как застучит кулаком по столу. «Молчать! — говорит.— Немедленно экзаменовать при мне же, а то в тюрьму... Расстреляю!» Тогда вот комиссар на вас указал. «Пойдем,— говорит,— спросим, как самый экзамен производить, посоветуемся...» Услыхал про вас — ничего. Пять минут сроку дал... ждет... Как же мы теперь пойдем к нему? Застрелит ведь...

И оба они вопрошающе, умоляюще смотрели на Клычкова...

Он оставил их у себя, никуда ходить не разрешил — знал, что Чапаев явится сам. И действительно, через десять минут вбегает Чапаев — грозный, злой, с горящими глазами. Прямо к Федору:

— Ты чего?

— А ты чего? — усмехнулся тот его грозному тону.

— И ты с ними? — прогремел Чапаев.

— В чем? — опять усмехнулся Федор.

— Интеллигенты... У меня сейчас же экзаменовать,— обратился он к дрожащей «ветеринарии»,— сейчас же марш на экзамен!..

Федор увидел, что дело принимает нешуточный оборот, и решил победить Чапаева своим обычным оружием — спокойствием.

Когда тот кричал и потрясал кулаками у Федора под носом, угрожая и ему то расстрелом, то избиением, Клычков урезонивал его доводами и старался показать, какую чушь он совершит, выдав подобное свидетельство. Но убеждения на этот раз действовали как-то особенно туго, и Клычкову пришлось пойти на компромисс.

— Вот что,— посоветовал он Чапаеву,— этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе, спросим его, как быть. Что ответит, то и будем делать. Идет, что ли?

Имя Фрунзе всегда на Чапаева действовало охлаждающе. Притих он и на этот раз, перестал скандалить, согласился молча.

Комиссара с врачом отпустили, телеграмму написали и подписали, но посылать Федор воздержался...

Через пять минут дружески пили чай, и тут в спокойной беседе Клычкову наконец удалось убедить Чапаева в необходимости сжечь и не казать никому телеграмму, чтобы не наделать смеху. Тот молчал — видно было, что соглашался... Телеграмму не послали...

Подобных курьезов у Чапаева было сколько угодно. Клычков и сам был свидетелем и наслышался самых разнообразных рассказов, особенно о резолюциях Чапая на распоряжениях и ходатайствах; они передавались из уст в уста и становились уже легендой.

Самобытная фигура! Многого он еще не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кое-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать и теперь, приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотразимо. Но суждено было иное...

XIV. ФИНАЛ

Дивнзия шла на Лбищенск. От Уральска до Лбнщенска больше сотни верст. Степн и степн кругом. Здесь казаки у себя «дома», и встречают они всюду поддержку, сочувствие, всяческую помощь. Красные полки встречают враждебно. Где остается частичка населення по станнцам, там слова хорошего не услышишь, не то что помощь, а в большинстве этн казацкие станицы к приходу красных частей уж начнсто пусты, разве только где-где попадется забытая дряхлейшая старушонка. Отступавшне казаки перепугали населенне «головорезами-большевиками», н станицы подымали на повозках весь свой домашннй скарб, оставляли только хлеб по амбарам, да н тот чаще жгли нлн с песком мешали, с грязью, превращалн в гаденькую жижнцу. Колодцы почти сплошь были отравлены, многие засыпаны до половины, не было оставлено ни одной бадьи. Все, что надо и можно было уродовать, уродовали до нзннчтожения, до неузнаваемости. Необходимые стройки поломалн, разрушили, сожглн. Получалось такое

впечатлеиие, будто казаки уходят иевозвратно. Отступали оии здесь, за Лбищеиском, с иепрерывиом боем, дрались ожесточеиио, сопротивлялнсь упорно, настойчиво и искусио...

Штаб Чапаевской днвизнн стоял в Уральске, передовые же части ушли на несколько десятков верст. Не хватало снарядов, патронов, обмундирования, хлеба... Голодиые красиоармейцы топтали хлебиые равииины, по станицам иаходили горы иеобмолочеииого зериа, а сами оставались без пищи. Нужда была тогда ужасиая. Даже заплесиевелый, прогнившнй хлеб иной раз не попадал на фронт иеделями, н красиоармейцы буквальио голодали... Ах, какие это были трудиые, непереиосимые, суровые дии!

Почти ежедневно Чапаев с Федором заглядывали иа автомобнле то в одиу бригаду, то в другую. Тут дорогн широкие, ровные, передвигаться можио очеиь быстро. А когда поломается бывало машиииа (ох, как часто это бывало!), садились на коией н за сутки отмахивалн верст по полтораста, уезжая на заре, н к ночн возвращались к Уральску. Чапаев отлично разбирался в степи н всегда точио определял местоиахождение станиц, хуторов, дорог н дорожек. Но одиажды и с ним случился грех — заплутался. Про это плутаиие в степи у Федора в дневнике записаио под заголовком «Ночиые огии». Выпишем оттуда, но будем помиить, что здесь и в десятой доле ие передаиы своеобразие и оригииальность тех иастроеиий, которыми жили в эту ночь в степи заблудившиеся товарищи с Чапаевым во главе. Миогое из «иочиого» ои ие сумел как следует описать, а потом и вообще оио, это «иочное», чрезвычайно трудио поддается выражеиию н передаче.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Надо было навестить Елаия. Сборы коротки: поседлалн коией, взяли с собой человек двеиадцать вериых спутников н поиеслись... Миновали Чаган и возле дороги, загаженной лошадииыми трупами,— прямо к озеру, через степь. Хлебами, высокими травами, цветиыми, пестрыми лугамн добрались до озера-лужи. Выехали на косогор, слезлн с коией, спустнлись к воде. Кони пилн жадио, мы — еще жадией. Было уже часов пять-шесть. Верст на тридцать

не встретили дальше ни одного хуторка. Кидались в каждую прогалину, искали воду, но не находили и мучились от нестерпимой жажды. В отдалении, по макушкам сыртов, показывались всадники — это, верно, казацкие наблюдатели и часовые. Каждую минуту здесь было можно ожидать из первой же лощины внезапного казацкого налета. Это у них любимый прием. Выждать где-нибудь в засаде, пропустить несколько шагов, а потом налететь ураганом, с гиканьем и свистом, блестя обнаженными шашками, потрясая пиками,— налететь и рубить, колоть внезапно, пока не успеешь стащить с плеча винтовку. Ехали и оглядывались, засматривали в каждую дыру, были наготове.

Дымчатые легкие облака вдруг помутнели, сгустились и совсем низко опустились черными тучами. Стало быстро смеркаться. Зашумел ветер, помчался по полю и еще теснее согнал в груду мрачные, зловещие тучи.

Вот упали первые капли, еще, еще, еще... Разразился настоящий степной ливень — оглушительный, частый и сильный ударом... Все быстро промокли. Я, как на грех, был в одной тонюсенькой рубашонке и всех быстрее измок до самой печенки. Стало холодно, бросало в жар и озноб, дрожали руки, лязгали зубы. В стороне показались какие-то разрушенные мазанки — остатки прежнего селения. Около них, по видимости, копошились люди...

Подъехали и тут застали двух обозников. Несчастные себя чувствовали совершенно беспомощно. Их полк ушел далеко вперед, а у них вот тут что-то приключилось: лопнули колеса, да и лошаденка повалилась, не подымается никак. Решили оставить все у колодца, а сами — пошли догонять, пока не угодили к казакам в лапы. Мы у них нашли четвертную, привязали ее на вожжах, на самом кончике камень прикрепили, спустили в колодец... Хоть и знали, что травят часто колодцы, да отгоняли страшную мысль — ее перебарывала жажда. Долго ждали, пока в узкое горлышко натечет вода, а как напились, тут уж стало и совсем темнеть. Дорога была едва видна в траве, но общее направление знали точно и потому снялись уверенно. Отъехали версты четыре — порешили свернуть и ехать прямо степью на огонь, что виднелся вдали. Оставалось, по нашим расчетам, верст пятнадцать, и часа через полтора думали быть на месте. Про огонь погадали-по

дали и порешили, что это костер горит в нашей цепи, а может, и не в нашей, да это все равно: свою цепь не перепрыгнешь, упрешься... Едем. Молчим. Пока были сухи, перед дождем, песни всё пели, да кричали, да гикали, а тут притихли — ни песен, ни громких разговоров. Хоть насчет костра и рассуждали, будто «свою цепь не перескочишь», однако была и другая мысль у каждого: «А ну да как ошиблись и едем прямо в лапы казаре?»

И от этих мыслей становилось не по себе лезла в голову всякая чертовщина. Напрасно вздувал Чапаев спичку за спичкой, напрасно водил пальцем по карте, а носом по компасу — ничего из этой затеи не получалось, и ехали наугад, вслепую, сами точно не зная куда. Огонек впереди то вспыхивал, то замирал, и когда замирал, мигая, становился бледен, тускл и бесконечно далек, приобретал какую-то странную таинственность, будто это не огонек, а наваждение, призрак, который шутит над нами в ночной темноте. Мы полагали первоначально, что всего тут каких-нибудь шесть — восемь верст, но уже проехали добрый десяток, а он, огонек, все так же, как и прежде, безмятежно мигал и то приближался, то пропадал где-то далеко-далеко... Стали гадать, предполагать: да костер ли это? Может быть, фонарь светит откуда-нибудь с высоченного далекого столба? Но почему же он как будто все отдаляется, уходит?

Решили дальше не ехать. С дороги давно уже сбились в сторону. Кони шагали по высокой мокрой густой траве, задевали ее копытами, и она хрустела, рвалась, как сочные звонкие нити. Справа зажегся другой огонек, и тоже как будто совсем недалеко, но, проехав с версту, убедились, что и тут как бы не все обстоит ладно... Вон еще один, другой, третий... В черной, пустой и могильно-тихой степи становилось жутко... Дождя то нет, то снова застучит по измокшей жалкой одежонке... Бррр!.. Как холодно! И как это скверно, когда холодные струи текут за шею, за спину, на грудь, словно змейки проползают по телу... Теперь бы в избу, к теплой печке, обогреться немножко... А впереди целая ночь, и все такая же холодная, такая же дождливая, мокрая, неприютная. Настроение понизилось до гнусности. Ехали и ехали — но куда? Временами казалось, что повернули обратно, проезжаем знакомые места, кружимся около одного, словно заколдованного, места... Как только шорох

в стороне — быстро повертываем головы и прнстально-пристальио всматрнваемся: ие разъезд ли казацкнй? Может быть, выследилн... подкрались... идут по следам... по пятам... и вот сейчас... раз... два... три... Что за силу имеет над человеком иочная тьма! Она даже самых смелых, самых храбрых делает беспомощными, мнительиымн, иеувереиио-робкими... Вои в стороне как будто чериеет что-то длиниое, иепрерывиое, неуклюжее... Выслали двонх. Онн с разиых сторои тихой рысью затрусили в ту стороиу и, воротившись, сообщнли, что это скнрды иеобмолоченного хлеба... Было решено остановнться н здесь, под скирдамн, ждать рассвета... Коией ие расседлывали, даже и не спутывалн. Несколько человек, чередуясь через каждые два часа, должиы были дежурить всю ночь...

Винтовкн — заряжениые, готовые — были у каждого под рукой на случай виезапного иалета. Пристроилнсь к сиопам, выкопали в соломе небольшие ложбиики, вдвинули себя в середину... Дождь не переставал нн иа миииуту... Я было уселся довольио ладио и соломы на землю иабросал иемало, а через иесколько миинут уже почувствовал себя в луже, и было невыносимо тошно, противио от этой слякоти, холодио и мерзко. Чапаев сндел рядом, уткиувшись лицом в промокшую солому, н вдруг... запел — тихо, спокойио н весело запел свою любнмую: «Сижу за решеткой в теминце сырой...». Это было так необычно, так иеожнданио, что я подумал сиачала — ие ослышался ли? Может быть, мычнт что-нибудь иевиятиое, а мне чуднтся песия... Но Чапаев действнтельио пел...

— Василий Иваныч, да что ты?

— А чего? — отозвался ои глухо.

— Услышат. Ну как разъезд?

— Не услышат, я тихонько... А то, брат, холодно больно, да противио тут в воде.

И от этого хорошего, простого ответа мне самому сделалось как будто легче.

— А вот, Федя, вспомниаю,— говорнт Чапаев.— Рассказывалн мне, што в пустыие двое заплуталнсь... Ну, как мы здесь с тобой, только нх-то было двое всего-иавсего... Бросили нх там али самн как отсталн — только сидят на песочке, а идтн нм и некуда... Нам хоть ночью. Ну, ладио... Солице взойдет — отыщем, а они куда? И иочь и день — все песок кругом: и туда песок и сюда песок, боль-

ше ничего... Воды у них по фляжке висело — не пьют. Помирать-то не хочется, а знают — как выпьют всё, так и смерть пришла... Только водой и жили. Три дня все вместе ходили, а найти ничего не могут, не видят конца... На четвертый-то день упал один. «Я,— говорит,— помираю, а ты рядом ложись: ходили вместе — вместе и ляжем...» Упал на песок, да и конец... Тот, што один-то остался, посидел над дружком, а у того, глядит, и зубы оскалились, глаза оловянные открылись. Страшно ему стало одному в пустыне... ну-ка... Уйдет он от этого места, а и жалко станет. Походит-походит, да и опять сюда оглядывается, штобы не потерять — боится... Хоть и мертвый тот, а все будто вдвоем... Так вот ты смотри, што вышло. На него верблюды пришли — там караван оказался... Так и жив человек... А дружка в песке схоронил... Это вот да! Тут никуда не уйдешь, коли во все стороны песок один тыщами верст рассыпается... Што тут? — обернулся он быстро в сторону и вскочил.

Федор — за ним, вскочил и Петька... Схватили винтовки, застыли в ожидании. Через несколько секунд выступила из тьмы фигура своего вестового, за ним, почавкивая и посапывая, приблизились кони... Опять прилегли в колючие, жесткие снопы...

— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было еще хуже моего. Да надумаю и вижу, что терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть? Я вон слышал еще, будто на море корабль разбило, а матрос обнялся с бревном да по волнам-то и гулял двое суток, пока его не подобрали... Тут вот позадумаешься, каково-то ему было, коли ноги в воде, да и сам, того гляди, туда же кувырнешься... А уцелел...

За разговором сгрудились потеснее. Петька слушал с большим вниманием. Когда ему надо было откашляться, закрывал ладонью рот, тыкался еще глубже в солому и там хрюкал как-то неопределенно. В темноте его блестящие черные глаза светились, как у кошки... Лишь только Чапаев кончил, Петька быстро взглянул на него и весь передернулся — видно было, что ему самому смертельная охота что-то сказать.

— Я вот... разрешите? — обратился он к Чапаеву.

Но тот ничего не ответил и молча поглаживал усы.

— Я хотя бы,— продолжал Петька,— на Дону, в восемнадцатом... Нас казаки в сарай человек двадцать заперли. Утром, говорят, разберемся, кто тут у вас большевик... А не скажете, так и все за большевиков уйдете. Капут, одним словом. Знаем, что расстреляют... Мы это доску одну полегоньку чик да чик, чик да чик — она и отползла... Я самый у них маленький. «Полезай,— говорят,— ты первый, а если попадешь, на нас не говори... сам, мол, один полез... Часового убери камнем — сразу-то, што ли, увидишь как...» Одним словом, полез я. А ночь вот, что сегодняшняя: дождик идет, а уж тьма-то, тьма-то... Я эдак тихонько ногу просунул — ничего... Я принагнулся... плечом... руку с головой выпустил, вторую ногу выставил... Гляжу — на земле, вышел у самого сарая, а за углом — как есть часовой стоит... Лег на брюхо, думаю — проползти надо сначала, чтоб его разглядеть: сидит человек или ходит... Вот по грязи, будто червяк, плыву, а ребята высунули головы, смотрят... Он на полене сидит и голову наклонил. Спит, может, думаю. Взял тут кирпич — из сарая дали, а как дополз к нему, да как хрясну его, да по виску его. Клюнул, сердечный, в землю и крикнуть не знал што... А я его еще раза четыре стукнул — забрызгался кровью, испачкался... Вышли мы всей артелью, сарай-то с краю был... Мы тут ползком, всё ползком, так и ушли непримеченные... Знали, где от своих отбились, нашли... Э-эх, тоже страху было!..

— Страх страхом, а жив,— заметил как-то неопределенно Чапаев.

— Жив,— подтвердил обрадованный Петька, польщенный вниманием.— И все живы — так артелью и доползли... Право слово!..

— Верю,— усмехнулся Чапаев.

Петька снова прикрыл рукою рот и два-три раза хрюкнул в солому.

— Вон спят,— показал Чапаеву на лежавших кругом спутников.— А я не могу и никогда не засну, ежели што такое...

А все-таки усталость свое взяла. Когда перестали говорить и притулились снова в глубину скирды, задремали чуткой, нервной дремотой, то и дело просыпаясь

от малейшего шороха... Так продремали до рассвета, а лишь забрезжило первой белесоватой мутью, поднялись усталые, промокшие, дрожащие от холода, измученные бессонной ночью. Согреться решили на быстрой езде. И в самом деле, как только Чапаев пораспутался с картой и выбрал направление, поскакали на ближнні сырт н тут, уже через несколько минут, почувствовали себя бодрее. А когда стало подыматься солнце, вконец повеселели. С сырта заметилн обоз и хотели направиться к нему, но обозники, увидев группу конных, ударились вскачь наутек. Петька полетел за ними карьером — хотя бы только узнать, свои или нет. Остальные ехали ровной рысью... Обоз оказался свой, как раз из той бригады, в которую держали путь... Через полчаса подъезжали к избушке, где поселился Елань со своим полевым летучим штабом... Местечко называлось Усихой.

....

Еще не было шести часов, а Еланя с комиссаром застали на ногах. Взобравшись на плоскую крышу мазанки-избушки, они водили бинокли из стороны в сторону, внимательно всматривались, о чем-то совещались между собою. Когда заметили подъезжавших, спустились вниз и ввели нх в грязную, полутемную лачужку. Вид у Еланя с комиссаром был самый ужасный: бледно-зеленые, трупного цвета лица, лихорадочные глаза, крайняя степень измученности и печать какой-то безысходности во взорах. Оба были без гимнастерок, в нижних рубахах — духота и жарища в халупе не позволяли работать одетыми. Елань был совершенно бос. По грязным, заплесневелым ногам можно было судить, что последний раз он мылся в бане, верно, несколько месяцев назад. От бессонных ночей и крайнего напряжения у него дрожали руки, а когда начинал торопиться в разговоре, голос прерывался, он начинал захлебываться словами, а кадык дергался нервно, то втягиваясь, то выскакивая стремительно; пересохшие, бледные губы изрезаны были трещинамн. Елань уж ни одного слова не мог сказать спокойно: он выкрикивал высоким протестующим фальцетом, махал руками в такт своей речи, бил кулаками в грудь, доказывая то, что ясно было н без доказательств,—

доказывал, что без патронов и снарядов воевать нельзя. Место было тут равнинное, видно с крыши далеко, и Елань в бинокль отлично рассматривал расположение казары.

— Так будут ли патроны, товарищ Чапаев? — спросил он надрывающимся голосом и смотрел Чапаеву в лицо, ловил и взгляд и первое слово...

— Подвезут... приказано...

— Што же — приказано... Я не могу дальше!..

— Так подожди... Ну откуда я тебе возьму, не с собой ведь вожу,— урезонивал Чапаев.— Говорю — везут, скоро быть должны...

— Знаете,— переводил Елань с одного на другого свой горящий, полусумасшедший взгляд,— мы с комиссаром весь день с этой крыши не слезаем. Тут больше неоткуда. А по четыре атаки в день, подлецы, делают... По четыре атаки! Мы всё видим — как и готовятся, как и лава несется,— все видно отсюда. А как следует ничего нельзя: патронов нет... Вчера приказал через третьего... Потом — через пятого... Теперь через десятого стреляют... На десять шагов допускаем... Ручными бомбами только и спасаемся... Нет возможности никакой. Ведь че-ты-ре раза в день! А место видели сами... простыня...

— Приказ на завтра получили? — спросил Чапаев и оглянулся.

— Получил... Тут все свои,— успокоил Елань. Да что же без патронов — я не смогу этого ничего... Голыми руками нельзя...

— Ну, знаю,— начинал сердиться и Чапаев,— знаю, чего говоришь зря? Тебя сразу облегчат. Шмарин начинает... Силы на него будут отвлечены, а ты...

— Ясно,— согласился Елань.— Только вот одно: патроны...

— А снарядов как? — спросил Чапаев.

— Да тоже. Ну, тут кое-как еще ладно. Хлеба... Хлеба нисколько... Вот и вас нечем угостить — ни корки нет, ей-богу... Только воду одну — вон, в чайнике..

— Вместе и хлеб грузовики везут,— пояснил Чапаев. Мы сейчас же к Шмарину, ждать некогда... Ну, прощай...

С тяжелым чувством уезжали от Еланя... Ехать было верст пятнадцать. Голодны кони, голодны сами, но знали,

что Шмарнну еще с вечера должно было прийтн продовольствие, поэтому, как только приехали, сейчас же организовали завтрак. Шмарин парился над приказом дивизии — ему с бригадой назавтра утром открывать действия. Задача выпала очень серьезная, обдумать надо чрезвычайно тонко, а советчиков у Шмарина — раз, два да и обчелся. Призывал он начальника штаба, но ведь что же и от него узнаешь особенного? Невелика фигура. Начальник штаба у Шмарина, кажется, в пнсарях до того сидел, а тут некого было поставить — ну, и ткнули. Сидит, смекает немного, парень неглупый оказался, но по штабной премудрости — ей-же-ей ничего не слыхивал и не знает. Потолковали за чаем, узнали подробно, что тут за обстановка, какое где жилье, далеко ли, сколько сил у неприятеля и насколько можно верить полученным сведениям, слышно ли, чтобы сам он, неприятель, готовился к чему-нибудь теперь же. Все это выяснено было еще в порядке частной беседы, а лншь только подкрепились, вплотную сели за карту, и Чапаев подробнейшим образом стал объяснять Шмарину, как надо проводить операцню от первого момента до последнего. Можно было в восторг прийти от чапаевской предусмотрительности и точности выкладок, которые он тут делал. Способность учнтывать малейшие обстоятельства — его особенная, характерная черта.

— Если вот так начнешь, вот што получится, а у Еланя вот што будет к тому времени... Попов за рекой будет вот в каком положении.

Учитывал быстроту движения измученных, почти разутых и нездоровых бойцов, количество и быстроту подвоза патронов, снарядов, хлеба; отсутствие воды; встречи с населением или полный его уход; серьезность и объем проделанной разведывательной работы; готовность казаков к встрече; усилия, на которые способна бригада Еланя; расхождения в стороны дорог н быстроту движения по бездорожным лугам...

Все, решительно все прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу три-четыре предположения и каждое обосновывал суммою наличных сопутствующих и предшествующих ему фактов н обстоятельств... Из ряда предположительных оборотов дела выбирался самый вероятный, и на нем сосредоточивалось внимание, а про остальные

советовал только не забывать и помиить, когда, что и как иадо делать.

Совещаиие длилось часа два. Когда было окоичеио, собрались уж было ехать обратио в штаб дивизии, ио тут пришли из бригадиого резервиого полка, который стоял от позиции верстах в двух, и пригласили... иа спектакль. Что-то необычиое. Назавтра такое серьезиое дело, тут рядом окопы противиика — и вдруг спектакль?!

— Это всегда так,— улыбиулся Шмарии.— Как только приедут, ребята уж поджидают, и тут хоть бой иачииай, а ставь... Смерть охотиики...

— Так ведь тут же так близко...

— А чего им?.. Было так, что если все спокойио, из окопов половииа уползала. Насмотрятся одио действие — обратио, а за иими другие... Так и пересмотрят до одиого...

— Тут и ставили, рядом?

— Рядом... Зоя Павловиа бедовая, оиа с ними все сама ездит... Заслышат еще где красиоармейцы, что оиа с театром спешит, уж ждут-ждут ее, ждут-ждут... Подготовлять все сами иачиут... Иной раз только оиа сюда, а тут и сцена, глядишь, давио сколочена... Заборов-то в стаиицах поломали — ай-ай!

Чапаев с Федором зиали, что за последние иедели Зоя Павловиа создала подвижной театр, ио иикак не предполагали, что оиа так близко к окопам ставит спектакли, а она сама про это до поры до времеии молчала: в бригаде, говорит, ставлю... Ну, и ие допытывались. А когда в бригады поедут — только-только про воеииые дела успеют поговорить. Теперь, по разговорам, оказалось, что как-то, двигаясь по степи, оиа со своею кочующей труппой угодила как раз под обстрел. Бригада шла в иаступлеиие, и полк, возле которого в это время очутилась труппа, уже сиялся с места, пошел вперед... Недолго думая, актеры оставили иа возу по вознице, а сами взяли виитовки и пошли рядовыми. Зоя Павловиа всегда была верхом. Оиа подъехала к комиссару полка, через десять мииут вместе с иим и еще пятком бойцов ускакала в разведку... Удивительиые были времеиа! Артист, оргаиизатор, политический работиик, пропагандист и агитатор, комиссар — все это сливалось прежде всего в одно поиятие: боец! Дивизиоииая труппа и была за то особеиио любима красноармейцами, что оии чувствовали тут

своего же брата бойца, который всегда с ними, а по надобности и вместе идет в наступление...

Ждали красноармейцы эту свою труппу всегда с величайшим нетерпением и обычно знали каждый момент и самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет, сюда приедет или в другую бригаду. И если знали, что труппа едет к ним, настроение повышалось, из уст в уста передавалось об этом, как о величайшей радости. Начинались приготовления. А когда труппа прибывала на место, очень часто даже из скудных своих средств устраивали ей дружеское угощение... Подмостки обычно сколачивались заранее, и если снимались с места, уходили в открытую степь, знали, что тесу там найти невозможно, а труппа вот-вот подойдет, всю эту гору досок так и волокли за собой...

Какая же это была радость, какое великое торжество, когда устанавливали сцену! Любопытных было такое множество, что их по-приятельски приходилось разгонять, чтобы не толкались, не мешали расставлять и укреплять декорации, готовить костюмы, гримироваться. Бывало так, что какой-нибудь особенно дотошный красноармеец стоит-стоит у раскрытого сундука с костюмами, любуется там на разные фраки да сюртуки, а потом, когда отвернутся, выдернет разукрашенный цветной камзол, напялит с треском да с веселой, расплывшейся от удовольствия физией и крикнет:

— Ребята, смотри на короля!

Ну, конечно, «короля» сейчас же берут под микитки, сдирают с него королевскую одежду, иной раз в шею двинут раза два-три, и он — куда-нибудь к кулисам — посмотреть, нельзя ли и там чего-нибудь на себя напялить, похохотать...

Это время приготовлений к спектаклю едва ли не бо́льшим было удовольствием, чем самые спектакли... Артисты начинают одеваться... Но куда спрятаться от зрителя, чтобы поразить его все-таки прелестью неожиданности? Тычутся-тычутся — ничего не выходит. Тогда из двух зол выбирают меньшее: или все тут заранее насмотрятся один за другим, или уж небольшую компанию отрядить, им показаться, а зато другим — ни-ни... Так и делают. Выберут человек сорок — пятьдесят, поставят их плотным кольцом в три ряда, а сами артисты

в середке: тут одеваются, тут примеряют парики, гримируются... Только ахнешь, как вспомнишь, сколько потрачено угля на этот самый грим! Можно себе представить, что за богатства театральные были в 1919 году, коли черную сухую корку считали богатством? До гримов ли было дорогих? Если и попадет бывало что ценное из этой области, так «зря» не расходуют, а в какие-нибудь «высокоторжественные», особенные случаи — положим, победа большая, обмундирование привезли, паек прибавили, да мало ли в полку своих особенных, позиционных радостей!

Играли актеры не сильно знаменито, а все-таки впечатление производили немалое. Надо честь отдать Зое Павловне: из небольшого, скудного репертуара она умела выбирать по тем временам самое лучшее. Играла сама, понимала бойца, знала, что ему нужна была простая, понятная, сильная, своевременная вещь... Такие находились. Несколько из них даже было написано своими же дивизионными писателями... иные не бесталанно. Многие (большинство) — неуклюже, нелитературно, зато имели какое-то необъяснимое качество самородности, силы, верного уклона, верных мыслей и сильных чувств, при полном иной раз неумении эти мысли и чувства воплотить в художественную форму. Репертуар слабоватый, но по тем временам не из бедных; в других местах было хуже, слабее, а то и просто вредными пьесами подкармливали...

Потребовалась исключительная любовь Зои Павловны к делу, чтобы совсем «из ничего» создать этот подвижной, столь любимый бойцами театр — и в какой ведь обстановке! Это не диво, что при других, при благоприятных условиях они рождались, а тут вот, когда нет ничего под руками, когда части в непрерывных и тяжких боях,— тут заслуга действительно немалая.

Бывало на двух, на трех верблюдах и тянутся по степи... Сами пешком, имущество на горбах верблюжьих прилажено... Где можно, лошадей доставали; тогда все по телегам разместятся и от полка к полку, от полка к полку, а там уж давным-давно поджидают многоценных гостей...

Когда Чапаев и все присутствующие получили приглашение «пожаловать» на спектакль, оказалось, что все уже было готово, сейчас же могут «занавеску поды-

мать», как доложил кто-то из приехавших красноармейцев... Решили съездить — отчего же нет? Тут совсем недалеко. Тем более что у Шмарина лошадей пришлось все равно обменивать на свежих. Когда подъезжали к массе зрителей, там уж было известно, кого поджидали. Все оглянулись. Из уст в уста полетело торопливо: «Чапаев... Чапаев... Чапаев...».

Картина замечательная! На земле, у самой сцены, первые ряды зрителей были положены на животы; за ними другая группа сидела нормально; за сидевшими, сзади них, третья группа стояла на коленях, будто на молитве; за этими — и таких было большинство — стояли во весь рост... Сзади них десятка два телег и в телегах сидели опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу кавалеристы — на конях, во всеоружии... Так разместилось несколько сот человек на совершенно ровной поляне — и все видели, все слышали...

Чапаева, Федора, Петьку пропустили вперед, поместили «во втором ярусе» — сидеть на земле.

Ставили какую-то небольшую трехактную пьеску, написанную здесь же, в дивизии. Содержание было чрезвычайно серьезное, и написана она была неплохо. Показывалось, как красные полки проходили через казацкие станицы и как казачки встречались с нашими женщинами — красноармейками, как их чурались и проклинали сначала, а потом начинали понимать...

. . . .

Пьеса окончена. Опущен занавес. Было приказано не кричать и аплодисментами не заниматься. Но безудержно, восторженно хлопали бойцы любимой труппе...

Федор подтолкнул Чапаева:

— Поди, выступи, расскажи, как тебя «били» казаки...

Чапаев вышел на подмостки и произнес короткую, но ярко образную речь, насыщенную эпизодами боевой жизни... Кончил. Провожали восторженно... У всех настроение было торжественное...

* * *

Поездка эта была последняя, которую Федор с Чапаевым совершали вместе. Уже через несколько дней

Федора отозвали на другую, более ответственную работу, а вместо него прислали комиссаром Батурина, с которым Клычков когда-то знаком был еще в Москве.

Куда уехал Федор и что там делал, ие станем рассказывать, это история совершенно особенная. Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, проснл командующего, чтобы не забирали от него Федора,— ничто не помогало, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что́ за друга лншался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любнл, так защищал постоянно от чужих нападок, относился разумно н спокойно к вспышкам чапаевским н бранн — часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу комнссаров, всякого «политического начальства», не кляузннчал об этом в ревсовет, не обижался сам, а понимал, что этн вспышки вспышками и останутся. Было и у Федора время, когда он готов был ставить Чапаева на одну полку с Григорьевым и «батькой Махно», а потом разуверился, понял свою ошибку, понял, что мненне это скроил слишком поспешно, в раздражении, бессознательно... Чапаев никогда не мог изменить Советской власти, но поведение его, горячечная брань по щекотливым вопросам — все это человека мало знавшего могло навести на сомнения. Пробыв с глазу на глаз неотлучно с Чапаевым целых полгода, Федор уносил о нем самое лучшее воспоминание. Ему, как и Чапаеву, тяжела была эта разлука. Не знал того, что разлука эта спасла от неминуемой смерти, что з а н е г о н н а е г о м е с т е через две неделн погибнет заместивший его Павел Степаныч Батурин...

Вот что заставило только Федора потом задумываться н сомневаться: где г е р о н ч н о с т ь Чапаева, где его п о д в и г и, существуют ли они вообще н существуют лн сами герои? Они былн так долго неразлучны — изо дня в день, из часа в час... Времена были самые жаркие, походные, сплошь боевые... Каждый шаг Чапаева Федор знал, вндел, понимал, даже скрытые пружинкн, закулисные соображения — и те в большинстве знал и видел отлично. Вот он перебирает в памяти день за днем — от встречи в Александровом-Гаю до последнего дня здесь, в Уральске. Сломихинский бой, колоссальная работоспособность, быстрота в работе... На Уфу... Пилюгинский

бой, уфимский... Опять сюда... Где же *конкретно* те факты, которые надо считать героическими? А молва о Чапаеве широкая, и молва эта, верно, более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучить относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе — о, это великий героизм! Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва. По молве этой чудится, будто «сам Чапаев» непременно носился по фронту с обнаженной, занесенной шашкой, сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которою имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла. Во время хотя бы несколько иное и с иными людьми не знали бы героя народного Василия Иваныча Чапаева! Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже *слышали* от других, верили этому слышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и *своим* вымыслом несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы, и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта...

Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве.

Имя его войдет в историю гражданской войны блестящею звездой — и есть за что: таких, как он, было не много.

* * *

Мы подошли к драме — она и закончит наши записки.

Мы знаем, что просьбы об оставлении Федора ни к чему не привели. Его отзывали категорически и даже строго, когда он сам намекнул, что хотел бы остаться

работать с Чапаевым. Оглянувшись на эти минувшие шесть месяцев, и сам Клычков теперь не узнавал себя — так он вырос, так окреп духовно, так закалился в испытаниях, так просто и уверенно стал подходить к разрешению всевозможных вопросов, которые ему до фронта казались безмерно трудными.

Только теперь почувствовал он могучее влияние боевой страды, воспитательное значение фронтовой обстановки...

Приехал Батурин, остановился у Федора. Разговорились по-приятельски про старое житье-бытье в Москве... Потом перешли на дивизию. Федор стал ему рассказывать про обстановку, в которой остается он работать. Мрачный, неразговорчивый, как будто чем-то опечаленный, Павел Степаныч сразу оживился, узнав, в какую своеобразную среду попал.

Днем заседала партийная дивизионная конференция. Федор проводил ее в последний раз, знакомил, между прочим, со всеми и своего заместителя. Тепло, задушевно, с искренним сожалением провожали товарищи Федора Клычкова — его за эти полгода они полюбили и привыкли ценить, а особенно дорожили им потому, что умел сдерживать Чапаева и ч а п а е в щ и н у, то есть все эти неприятные, временами просто опасные выходки и выпады в сторону политработников, ЧК, штабов...

После конференции, вечером, Федор созвал к себе на прощанье всех командиров и комиссаров. Был тут и Павел Степаныч. Но странно было его настроение: как сел в угол, так и просидел почти без движения, никому не сказавши ни слова все эти несколько часов, пока друзья и товарищи провожали Федора, поминали боевую минувшую жизнь, сожалели, что уходит простой, хороший, верный товарищ...

Наутро простились, расцеловались, разъехались в разные стороны: Федор в Самару, а Чапаев с Батуриным — на позицию, по бригадам и полкам.

Наступали успешно. Бригада Шмарина да еще одна, приданная от другой дивизии, шли по Уралу, по большому тракту. Бригада Попова ушла на Бухарскую сторону — так называются зауральские земли. Елань со своими полками совершил маневр на Усиху, куда приезжали к нему Чапаев с Федором после «ночных огней». Этот маневр не дал того, чего ждали; затраты были

слишком велики — они не соответствовали результатам боев. Чапаев, такой чуткий и гибкий во всех своих действиях, так быстро все улавливавший и ко всему применявшийся, понял здесь, в степях, что с казаками бороться надо уже не тем оружием, каким боролись недавно с мобилизованными насильно колчаковскими мужичками. Казаков на испуг не возьмешь, захваченной территорией с толку их не собьешь: территория казацкая — вся широкая степь, по которой будет он скакать вдоль и поперек, в которой всюду найдет привет казачьего населения, будет жить у тебя в тылу, будет неуловим и бесконечно вреден, серьезно, по-настоящему опасен. Казацкие войска не гнать надо, не ждать надо, когда произойдет у них разложение, не станицы у них отымать одну за другою,— это дело очень важное и нужное, но *не главное*. А главное дело — *сокрушить* надо живую силу, уничтожить казацкие полки. Если из пленных колчаковцев было можно восполнять поредевшие ряды своих полков, то из пленных казаков этого набора делать невозможно: тут — что казак, то и враг непримиримый. Во всяком случае, другом и помощником сделается он не скоро! Уничтожение живой неприятельской силы — вот задача, которую поставил Чапаев перед собою. Чем дальше, глубже в степь, тем труднее это сделать: возрастет нужда, одолеет измученность, голод и безводица сделают свое дело, оторванность от центра скажется болезненно и тяжко.

Трудно будет и казаку, но трудней того — красноармейцу. Значит, надо торопиться, надо идти на все: жертвовать силами, жертвовать средствами, многое отдать сознательно, чтобы больше того не потерять, забравшись глубоко в степи. И Чапаев нащупывает пути, которые бы вели к намеченной цели. Усихинский маневр — не то, совсем не то, что надо. И войска сгруппировываются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу — Лбищенск... Потери... да, потери, но результаты уже более серьезные. Пяток таких ударов — и кончено!

За Лбищенском миновали Горяченский. Под Мергеневским встали. Свое положение отступавшие казаки понимали отлично и видели, что ожидает их в голодном песчаном низовье. Отпор красным войскам надо дать где-то здесь, пока не поздно, пока не все потеряно. И они

усиливают оборону станиц до последней степени. Крепко защищали Лбищенск, упорно держались, долго не отдавали, но там этот могучий лобовой удар, видимо, был для них неожиданным. Рассчитывали, что Чапаев все еще живет маневрами, все еще только верит в обхват. Ошиблись. Но на ошибке этой научились и теперь укрепили Мергеневский, насколько хватило сил и средств: использовали оставшиеся от весенних боев глубокие окопы, сгрудили сюда артиллерию, наставили за каждым уголком, в каждую щель, попрятали в окопах пулеметы. Мергеневский брали красные полки лобовым ударом. Взяли. Несмотря ни на что — взяли. Положили немало казаков, но больше легло красноармейцев. Победа досталась дорогою ценой. Казаки уловили чапаевскую тактику и на каждый новый ход отвечали своим особым ходом. Когда убедился Чапаев по мергеневскому бою, что лобовой удар надо временно оставить,— Еланю дал задачу идти по большому пути, а Шмарина направил к Кушумской долине, на Кзыл-Убинский поселок, чтобы выходом против Сахарной облегчить захват этой станицы Еланю.

В это же время сюда из-под Сломихинской двигались казацкие полки; они набрели на хутор, где задержался иваново-вознесенский обоз. Начались ужасные расправы. Случайно спаслись, убежали только три красноармейца. Они и сообщили о случившемся. В бригаде затревожились — отсюда казаков не ждали. Повернули полк опять на хутор, на выручку обоза. Но вернуть его целиком не удалось — все лучшее захватили казаки с собой, с боем отступая от хутора. Представилось ужасное зрелище: бойцы с разможженными черепами, с рассеченными лицами, перерубленными руками...

Этими ужасами казаки, видимо, хотели, кроме утоления мести, устрашить красноармейцев, заставить трепетать их казацкого плена, трепетать самого пребывания здесь, в степях, подтолкнуть к дезертирству. Результаты как раз получались обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с поражающей стойкостью, воистину «до последней капли крови». Молва о случившемся здесь, на хуторе, помчалась из роты в роту, по всем полкам. Раздавались проклятия свирепым палачам, бойцы давали себе клятву победить или умереть в бою!

* * *

Елаиь спустился с боем к Каршиискому и здесь ожидал вестей о походе Шмарииа, ио тот с полками запутался в степи и иикак ие мог с иими в течеиие ряда дней устаиовить связь. Посылал гоицов, ио их перехватывали дежурившие кругом казацкие разъезды, выматывали у иих разиые сведеиия, отбирали письма и докумеиты, а дальше — сиосили голову. Расстреливать — жалели пуль, а вешать было ие иа чем. Сколько гонцов ни посылали, участь была одинаковая. А положеиие из рук вои плохо: станиц тут иет, голая степь кругом, только редко-редко хутор где встретится. Хлеба доели последиие крохи, кололи скотину; питались одиим мясом, поджаривая его иа кострах. Усилились разиые болезни, одолела желтуха. Лечить было некому и иечем. Воды иет. Скакали к Кушуму — он тут пересыхал — и доставали вместо воды только зелеиовато-коричиевую жижицу, иаподобие той, что бывает в старых, заплесиевелых прудах. Наполияли котелки и ведерки этой мерзостью, отжимали грязь, а что оставалось, пили. Привозили по ведерку в полк, и там иачииалась драка: кому первому?

Как-то случайно наткиулись иа колодец. Немноговодны оии, казацкие колодцы,— иабралось тут всего пятиадцать ведер. Потребовалось у спуска, где цепляется бадья, поставить пулемет, а кругом — немалую охрану. Каждому полку выдавали поровиу, и у поставлениых ведер стояли тысячиые очереди бойцов с желтыми, худыми, измучеиными лицами.

Каждый подходил, заглядывал в студеную воду, и глаза его загорались недобрым огоиьком,— так и казалось, что кииется он вперед, уцепится за ведро обеими руками, опустит в воду распалеиную голову и жадиыми губами стаиет пить, пить, пить... Вы его бейте, рвите, гоиите, стреляйте — ои ие оставит воды! Так бы, может, и случилось, если бы и тут ие было охраны, если бы и тут кружка не передавалась через вторые руки. Подходит, сердяга, дадут ему эту кружку, и смотрит он, смотрит, как на дие тоненьким слоем раскатилась вода.

— Еще иемиожко, товарищ,— обратится ои к водочерпию·с умоляющим, скорбиым, тяжелым взглядом.

— Нельзя... всем поровиу...

— Хоть капельку...

— И капельки нельзя,— отвечают ему.

Посмотрит еще раз на дно, медленно поднесет к губам, все жалея пить, и долго-долго тянет и сосет, будто в кружке не вода, а густой, сочный, сладкий мед и будто доверху его — никак не выпьешь, не осилишь.

Попадались колодцы, наполовину забросанные землею. Отрывали. Но там, в глубине, встречали только влажную, грязную землю — воды не было. Два колодца встретились заваленные трупами коров и лошадей. Смердило. Вонь слышна была издалека. Но раскопали и эти колодцы. Повыбрасывали трупы, а добытую со дна вонючую шоколадную жижицу опять отжимали от всякой дряни и пили.

Так мучилась шмаринская бригада, пока не нащупала еланьевские полки, которые к тому времени уже захватили Сахарную. Ждать подмоги не стали, торопились идти дальше.

Грозный, взволнованный Чапаев отдал Шмарина под суд за невыполнение приказа и сам требовал расстрелять его! Но председательствовавший в комиссии по разбору дела Елань настаивал — снизить Шмарина на командира полка. В этом предложении его поддержал Батурин, и Шмарина наутро же убрали из комбригов.

Уже подготовлялись полки к дальнейшему походу через Калмыков на Гурьев, к Каспийскому морю. Но тут-то и случилась драма, которую никогда-никогда не забыть.

* * *

Штаб дивизии стоял во Лбищенске; отсюда Чапаев с Батуриным продолжали на автомобиле почти ежедневно навещать бригады. Подступали осенние холода. За свежими, ядреными днями опускались быстро сумерки, за сумерками — черные, глухие осенние ночи... Все безнадежней положение отступающих казацких частей: впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая сторона... Если сопротивляться, то только теперь — дальше будет поздно! И казаки решили сделать последнее, отчаянное усилие: обмануть бдительность своего победоносного противника и ударить ему прямо в сердце. Они решили проделать из-за Сахарной глубокий рейд мимо Чижинских болот по Кушумской долине — как раз мимо тех мест, где по весне у Сломихинской била их Чапаевская дивизия,— выйти незаметно в тыл красным войскам и внезапным ударом

сокрушить все, что сгрудилось в Лбищенске. А здесь тогда было немало и народу, и учреждений дивизионных, и даже всякого добра военного: патронов, снарядов, обмундирования как раз привезли на ту пору — собирались дивизию одевать-обувать, увидев, как от грязи, от голоду, от муки походной целые роты и батальоны повалкой лежали в тифу.

В этот многотрудный путь от Уральска на Гурьев от тифа бойцов убыло многим больше, чем от сражений. Халупы станиц, полковые обозы, а то и просто придорожные канавки полным-полны были больными красноармейцами. Одних не успевали отвозить, как заболевали другие, а других везти было не на чем, и они оставались по пустым халупам пустых станиц или по траве, в канавах, на дороге...

Не было медикаментов, переболел и перемер наполовину медицинский состав. У казаков было немногим лучше, но на их стороне было то преимущество, что в станицы приходили они первые, все там забирали, все с собою угоняли, увозили, а то, чего были не в силах взять, сжигали, уничтожали, отравляли — всячески приводили в негодность. Красные полки двигались по местам разоренным и опустошенным, все больше и острее нуждаясь в хлебе, воде, патронах, снарядах, повозках, лошадях... Положение чем дальше, тем несноснее. Казаки это знали и хорошо учитывали при своем бесспорно талантливом налете. Они думали: когда уничтожен будет штаб, разорвана связь и полки, ушедшие вниз на сотню верст, останутся с голыми руками, они сдадутся сами по себе, видя полную безнадежность дальнейшего сопротивления... Будет сокрушена, думали они, несокрушимая Чапаевская дивизия, а вместе с ее гибелью освободятся от красных пришельцев уральские степи...

На операцию свою возлагали они надежды очень крупные и потому во главе дела поставили опытнейших военных руководителей... Над Лбищенском собирались черные тучи, а он не знал, что так близка эта ужасная катастрофа...

Сегодня Чапаев мрачнее обыкновенного рано утром умчался на автомобиле, но пробыл на фронте недолго, в полдень воротился во Лбищенск... Продвижение стало замедляться: тиф косил бойцов без жалости и без счету,

обозы не могли доставлять ко времени все необходимое. Он видел и понимал, что «подтянуть» никого и никак нельзя — через себя не перескочишь! Бригады работали, выбиваясь из сил, но тяжкая обстановка одолевала даже героическое, самоотверженное напряжение. Мрачен Чапаев. Забежал на минутку к Батурину, поделился сомнениями — опять к себе. Все ходит, ходит взад-вперед по комнате просторной казацкой избы. Хочется ему придумать что-то — и не может придумать, потому что нет его, этого желанного ответа. Петька из-за двери посматривает и молчит, только ждет — не прикажет ли ему что-нибудь Василий Иваныч.

Приходил Чеков, но еще в коридоре остановил его Петька и посоветовал лучше не ходить. «Сейчас не для тебя у него время, друг»,—сказал он Чекову, и тот, пофыркивая в густые, пышные усы, без разговоров повернулся и ушел. Заглянул Теткин Илья. Этот что-то даже «очень важное» сообщить хотел, но и он, услышав, в каком состоянии духа Чапаев, ушел обратно. С болью сердечной пришлось только пропустить начальника штаба Ночкова. Но этот с «докладом» шел, его и отговаривать Петька не осмелился.

Ночков, молодой человек лет двадцати трех, офицер, был одним из тех немногих, которым Чапаев доверял, а Ночкова он даже и любил. Поступив в Красную Армию еще в 1918 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, кажется, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, и они его любили и уважали — «свой» был, словом, человек. Насколько его уважал Чапаев, уже по тому одному можно заключить, что за все время совместной работы ни разу на него не крикнул, не грозил, не пугал всеми муками ада, а таких счастливцев не было ведь почти ни одного. Ночков вошел в комнату и остановился у притворенной двери, придерживая под мышкой пачку бумаг.

— Входи, чего ты? — посмотрел на него Чапаев.

— Слушаю,— подошел Ночков и, увидав, что Чапаев сел к столу, наклонился и стоя начал доклад.

Он рассказывал и показывал на карте, какую линию заняла дивизия по последним сводкам. Особенно Чапаев расспрашивал о бригаде, которая ушла за Урал, на Бухар-

скую сторону, и, отрезанная, почти лишенная подвоза, сражалась там в безмерно трудных условиях. Но когда узнал он, что телеграммой оттуда извещают о прибытии последнего транспорта, повеселел, стал ласковей, говорил спокойнее и тише.

— Как известно вам,— докладывал Ночков,— на обозников тут неподалеку, верстах в пятнадцати, вчера нападение сделано.

— Знаю.

— Расследовали, произвели дознание. Есть убитые и раненые... Казачий разъезд, преследуя, подходил совсем близко к станице, но потом ускакал в неизвестном направлении.

— Догоняли? — спросил Чапаев.

— Опоздали, не видели даже, куда ускакал. Обозники, что спаслись, тоже не знают.

— А не думаешь, Ночков, што тут, близко где-нибудь, побольше имеется?

— Не могу знать. По вашему приказанию рано утром сегодня пущены во все стороны разъезды, улетело два аэроплана...

— Нет еще никого?

— Летчики здесь докладывали: нет ничего, движения никакого не заметно.

— Ты знаешь? — спросил Чапаев.— Сегодня выставишь школу курсантов.

— Слушаю...

Еще несколько вопросов, и Чапаев отпустил Ночкова. Скоро пришел Павел Степаныч. Он только что разговаривал с вернувшимися разведчиками — нигде ничего ими не обнаружено.

До сих пор удивительным и неразгаданным остается, кто же в ту роковую ночь дивизионную школу снял с караула. Чапаев такого распоряжения никому не давал, Ночков — вне всяких подозрений: он сражался геройски и тяжко пострадал той же ночью во лбищенском бою.

Что у казаков была связь со станичниками, в том нет никакого сомнения. По крайней мере, в некоторых избах сразу обнаружились засады, откуда били и винтовки и пулеметы; склады и учреждения дивизионные указывались чрезвычайно быстро — все подготовлено и рассмотрено было заранее.

Когда Батурин сидел у Чапаева, мимо Петьки, несмотря на сопротивление, прорвалась к ним какая-то доброжелательная казачка, у которой сын служил в Уральске, и впопыхах старалась рассказать и убедить, что приближается опасность, потому что «в поле ездют», но и это предупреждение не имело никакой силы: Чапаев с Батуриным только усмехнулись, подумав, что женщина говорит про тот самый разъезд, который наскочил на обозников... Про эту «дуру бабу» Петька рассказывал тут же пришедшему вторично Теткину, который безобидно повернулся опять, узнав, что занят с комиссаром.

Уже полночь давно осталась позади, чуть дрожат предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном.

Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых. За ними подъезжали, смыкались, груднлись и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой.

Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных... Поздно была обнаружена опасность — казаки уж рассеялись по улицам станицы. Поднялась беспорядочная, слепая стрельба — никто не знал, в кого и куда надо стрелять... Красноармейцы повскакали и в одном белье метались в разные стороны. Видна была полная неорганизованность, полная неподготовленность. Отдельные кучки сбивались сами по себе, и те, что успели захватить винтовки, задерживались на каждом мало-мальски удобном месте, где можно было спрятаться, открывали огонь вдоль по улицам, а потом снимались и бежали дальше к реке. Общее направление всех отступавших было на берег Урала. Казаки гонялись на окраине за бегущими красноармейцами, рубили, захватывали, куда-то уводили — здесь не было почти никакого сопротивления. Но проникнуть в центр станицы не могли. В одном месте несколько десятков человек сгрудились вокруг Чапаева и скоро залегли цепью. Сам Чапаев выскочил тоже в белье; с ним была винтовка, в левой руке держал револьвер... Уж совсем поредели сумерки, можно было все рассмотреть без труда... Прошли в ожидании две-три томительные минуты... Цепь увидала, как на нее неслась казацкая лава... Дали залп, другой, третий... Затрещал подтащенный пулемет — лава отхлынула.

На соседней улице, где остановился политический отдел, возле Батурина тоже сомкнулась группа человек в восемьдесят: тут были с Суворовым во главе почти все работники политотдела, сам Батурин, Ночков, Крайнюков. Увидев, что казацкие атаки становятся все чаще и настойчивее, Батурин сам повел в атаку свой крошечный отряд. Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие пулеметчики повскакали и кинулись бежать, оставив Батурину в руки два пулемета. Пулеметы повернуты были немедленно против врага... В это время тяжело в ногу ранен был Ночков. Его оттащили немного в сторону, но не знали, куда деть, оставили. Он дополз до халупы, протащился и спрятался там под лавку... Батуринская группа держалась дольше всех, но, не имея связи ни в одну сторону, она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а главный бой главными силами идет где-то по соседству, верно около Чапаева... Так и погибла с этой верой. Связи не было, и потому успех одной группы совершенно парализовался соседними неудачами: никто не знал, что делается рядом, что надо делать самому. Увидев, что лобовыми атаками скоро успехов не добьешься, казаки частью спешились и задворками, через сады, стали проникать в тыл обороняющимся группам...

Когда поднялась в тылу перестрелка, а тут, с фронта, снова и снова вынеслись казацкие лавы, группа батуринская не выдержала, начала отступать, рассеялась. Помчались бойцы в одиночку прятаться, кто куда успеет. Не уцелел, конечно, ни один... Жители выдавали поголовно; спаслись только убежавшие к Уралу, сохранившиеся при переправе... Батурин убежал в халупу и спрятался где-то под печью, но хозяйка выдала его немедленно, рассказала, что «это, надо быть, сам комиссар и есть»,— помнила, знать, окаянная, по собранию, где Павел Степаныч держал к станичникам речь. Разъяренные, рассвирепевшие казаки, узнав, что в руки попал «сам комиссар», даже и не подумали что-либо узнавать от него, допрашивать и выпытывать,— они горели звериной охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю — каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие... Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, с остервенелыми

лнцамн ждали, когда его бросят на землю... И как только броснлн — в горло, в жнвот, в лицо воткнулись шашкн н штыкн... Началась вакханалня. Но, и этого было мало: ухватнли за ногн, ударили, размахнувшись, с такой снлой, что разлетелась черепная коробка, выскочнлн мозги... Потом рвали, дралн, кололн н резали его одежду, пннали этот сгусток мяса и кровн, н каждый метнл пнуть непременно в лнцо... Тут же, поблнзости, стояло несколько плеиных красноармейцев; оии с ужасом смотрелн, во что превращен был славный комнссар Павел Степаныч Батурни. Несчастные! Оин почтн все до одного — уже через несколько мннут — сами погнблн под казацкнмн шашкамн... А Чапаев — где он?

В окопах долго удержаться не удалось — и сюда проинкли по берегу казакн... Надо было отступать к обрыву... Здесь обрыв высоко иад волнами, и на горку ндтн — все равно что быть мншенью. Но деваться некуда, по обенм стороиам уже поставлены казацкие пулеметы: они бьют по реке и хоронят пловцов, которые думали скрыться на Бухарскую стороиу. Чапаеву пробнло руку. Он вздумал утереть лнцо и оставнл кровавые полосы иа щеке и на лбу... Петька был все время подле.

— Васнлнй Иваиыч, дайте голову завяжу! — крнкнул ои Чапаеву.

— Ннчего... голова здоровая...

— Кровь на лбу бежнт,— задыхающнмся голосом старался его увернть Петька.

— Ну, полно — все равио...

Онн шаг за шагом отступалн к обрыву. Не было почти инкакой иадежды — мало кто успевал спастнсь через бурный Урал. Но Чапаева решнлн спастн.

— Спускай его на воду! — крнкнул Петька.

И все поняли, кого это «е г о» надо спускать. Четверо блнже стоявшнх, поддержнвая бережно окровавленную руку, сводилн Чапаева тихо вииз по песчаному срыву. Вот кннулнсь все четверо, поплылн. Двонх убило в тот же миг, лишь только косиулнсь воды. Плылн двое, уже былн у самого берега, н в этот момент хнщиая пуля ударнла Чапаева в голову. Когда спутннк, уползшнй в осоку, оглянулся, позадн не было ннкого. Чапаев потоиул в волиах Урала...

А Петька остался иа берегу до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагаиовских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую — в сердце. И казаки остервенело издевались иад трупом этого маленького рядового, но такого славного, благородного воина. С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавлениую в песке кровавую массу человеческого тела...

Месяца через два после той трагической коичины Революционный военный совет республики отдал приказ о том, что за славные дела награждается ордеиом Красного Знамени славный воии Петр Исаев.

Опоздала почетиая иаграда — иа два месяца ие захватила своего героя.

Вместе со всеми до самого берега отступал с Исаевым рядом и Чеков. Его убили на песке, к воде спуститься ие успел — пуля пробила ему голову.

Теперь сопротивления уже не оказывали нигде. Казаки гонялись за убегавшими, иагоняли их, ловили и зарубали на месте...

— Жиды, комиссары и коммунисты — выходи!

И те выступали вперед, ие желая подводить под расстрел красноармейцев,— только не всегда их этим спасали. Выходили перед рядами своих товарищей — такие гордые и прекрасные в своем молчаливом мужестве, с дрожащими губами и горевшими гневиыми глазами — и, посылая проклятья казацкой иагайке, умирали под ударами шашек, под ружейиыми пулями... Других уводили в поле, под пулеметы... Там за станицей есть три огромные кирпичные ямы — они доверху завалены трупами расстрелянных...

Бригады стояли у Сахарной и выше по станицам, когда помчалась страшная весть: уничтожен штаб, политический отдел, все дивизионное командование, разрушеиа связь, отнят отдел сиабжеиия — нет и не будет снарядов, патронов, одежды, обуви, хлеба... Очутиться в таком положеиии — ужасно! Красноармейцы измучены боями, изнуреиы голодухой, целыми ротами мучаются, гибиут в тифу... Отрезанные, окруженные казаками, потерявшие управлеиие — что станут делать?

Елаиь взял иа себя командование дивизией — никто его не назиачал, не утверждал, сам взял, ждать было некогда.

Идти вперед бессмысленно! Идти назад — это значило с голыми руками пробиваться сквозь казацкие массы у Лбищенска. Но в этом последнем исходе хоть отдаленно поблескивает надежда на успех, а в первом решении и этой надежды нет — там верная, скорая гибель. Решено отступать немедленно, быстро, незаметно снявшись со стоянок, стараясь неприятеля ввести в заблуждение, обмануть его бдительность. Одни другому со скорбью, ужасом передавали бойцы мрачную весть, и скоро все до последнего знали о том, что случилось во Лбищенске.

— Вперед или назад? — спрашивали друг друга и не знали того, что сам новый командир осиротелой дивизии не решил еще в ту минуту этого больного, мучительного вопроса: вперед или назад?

От Мергеневского бригада пошла первая, скоро за нею должна была идти и вторая, что стояла в Сахарной.

Сняться решено было ночью — так тихо, чтобы неприятель и не думал, что уходят красные полки.

В кольцо замкнули обозы и артиллерию, оставили на охрану кавалерийский дивизион, поднялись и бесшумно, тихим ходом задвигались во тьме...

В станице горели костры — пусть думают казаки, что у этих костров все еще греются безмятежно красные бойцы...

А они все дальше, дальше уходят в степь... Команда — шепотом, и этот шепот из уст в уста передается по невидимым цепям и колоннам... Скрипнет колесо, придавит комунибудь ногу, и он охнет невольно. Кто-то глухо, сдержанно кашлянет в кулак — и снова тишина, тишина... Не шли, а словно на крыльях летели.

Уж позади остался Каршинский поселок, вот на виду Мергеневский...

В это время донесся издалека глухой, тяжелый удар — в Сахарной отступавший последним кавалерийский дивизион взорвал оставшиеся снаряды, их не на чем было увозить.

Как только взорвал, на рысях ударился догонять давно ушедшие части...

Почти двое суток шагали не отдыхая. Чуть приникнут — и дальше: некогда стоять, дорога́ каждая минута. На вторую ночь подходили ко Лбищенску. Отсюда казаки еще накануне, до прихода первой бригады из Мергенев-

ского, ушли вверх на Уральск. Оии тоже торопилнсь н миого иадежд возлагали на внезапиость, иа быстроту удара. Отрезаииые частн оии считали обречеиными: их добьют из Сахариой! А сами — скорей, скорей на Уральск! Но обернулось по-иному, совсем по-иному: «обречеиные» остались живы и целы.

Вот уж н вторая бригада проходит через зловещий, кровавый Лбищеиск... Ои все еще страшеи, глух и пуст. Валяются по улицам неубраиные тела проколотых, иссеченных шашкамн, расстреляиных красноармейцев... Первая бригада не задерживалась здесь — ушла тогда же иа Кожехаров. Трупы подбиралн, уиосили, хороиили. Отправились в поле и в общих братских могилах схороиили тех, что сотиями поставлеиы были под казацкие пулеметы...

Ни прощальиых слов, ии похороиного марша — с обиажеиными головамн опускались бойцы иа колени и застывалн в безмолвин иад дорогими могилами, полиые скорбиых чувств, тяжелых и суровых дум...

Во Лбищеиске отдыхалн иедолго — сиялись и пошли... Тут настигли преследовавшие от Сахариой казацкие частн, и завязался бой — бой не иа жизнь, а иа смерть. Казакн ие хотели верить, что столь измучеииые войска могут сопротивляться, наскакивали бешеиыми атаками, торопились покоичить упущениое дело.

А красиые полки, обречеииые иа гибель, вырывались из железиых объятий смерти, пробивали путь, отражали атаки, доказали еще н еще в этой изумительиой обстаиовке, что представляли собой полки Чапаевской днвизии...

* * *

Под хутором Яиайским очутились иочью. Усталость была беспредельиая. Повалились с иог. Камеииым сиом засиули бойцы... Даже караулы не могли совладать с собой — спали и оии. Красный лагерь представлял собой сплошиое мертвое царство... Казаки приготовились к виезапиому удару; оии цепями подкрались почти вплотиую, замерли в иескольких шагах, только боялись начать в такую глухую, иепроглядную темь, ждалн первых призиаков робкого, дрожащего рассвета... Коииые массы отброшеиы по флаигам: оии иацелилнсь поскакать за бегущими,

перепуганными красноармейцами... Было все готово. Над красными частями нависала смерть!

Первый удар казаки давали на испытание: будет паника или нет? Побегут или останутся на месте?.. И только колыхнулся дремучий мрак сентябрьской ночи, как по казацким частям загремело: «Ура!!! ура!!! ура!!!» Залпами открыли огонь... Откуда-то сзади грохнули орудия...

Как ни крепко спали бойцы, повскакали — и сразу за винтовки... Но не было порядка, не было стройного сопротивления,— от первых же казацких пуль погибло немало командиров. Произошло замешательство. Никто не мог определить сразу, что надо делать, ждали команды, но ее не было. Сопротивление было раздробленным, случайным, ненадежным... Все нарастал беспорядок, все увеличивалось замешательство, с минуты на минуту можно было ожидать сумасшедшей, губительной паники...

Командир артиллерийского дивизиона Николай Хребтов — тот, что работал у Красного Яра,— подбежал к орудиям, но там не было наготове ни одного «номера»: кто отбежал к повозкам, кто лежал уткнувшись, спасаясь от огня... Властным окриком поднял людей, пустил снаряд, за ним другой, третий... и открыл жестокий, сокрушительный огонь...

Этого было достаточно, чтобы предотвратить панику.

Лишь только бойцы увидели, услышали, что бьют свои батареи, встрепенулись, ободрились, а тут на смену погибшим командирам явились новые. Завязался упорный, кровопролитнейший бой — таких боев не много запомнят даже старые боевые командиры Чапаевской дивизии...

От сопротивления переходили к атакам и снова замирали, когда несносен становился пулеметный огонь...

С грохотом и воем шли на красные цепи два неприятельских броневика: один в открытую — по равнине, другой в обход — по глубокому оврагу. Не привыкать стать — только еще плотнее прилегли к земле, застыли в ожидании... А когда чудовище приблизилось, Николай Хребтов одному снарядом угодил прямо в лоб, и тот, покачнувшись, осел на месте. Восторгу не было пределов. Поднялись на новую атаку. И били... А потом снова зарывались в землю и ждали очередной ответной схватки...

Казаков угнали за несколько верст. В этом янайском бою немало погибло красных бойцов, но еще больше на

поле осталось казаков. И так было, что лежали они рядами,— здесь скошена была вся цепь неумолимым пулеметиым огием...

Другого боя, подобиого яиайскому, не было. Скоро подошла подмога... Казаки угоиялись вспять через те же хутора и стаиицы, где лишь иесколько дней тому быстро-быстро спешили от погоии красиые полки. Теперь оии сиова шли в иаступлеиие уже на самый Гурьев, до берегов Каспийского моря...

Проходили и Лбищеиск, застывали над братскими могилами, пели похоронные песии, клялись бороться, клялись победить, вспомииали тех, что с беззаветиым мужеством отдали свои жизни иа берегах и волиах иеспокойиого Урала.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дорогие ребята!
Напишите, понравилась ли вам книга.
Наш адрес:
Ленинград, 191187, набережная Кутузова, д. 6.
Дом детской книги
издательства «Детская литература».
Не забудьте указать свой возраст
и домашний адрес.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Фурманов Дмитрий Андреевич

ЧАПАЕВ

Ответственный редактор Е. В. Тукнов.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Технический редактор Т. С. Тихомирова.
Корректоры Л. А. Бочкарёва и Н. Н. Жукова.

ИБ 6619

Сдано в набор 14.05.82. Подписано к печати 18.11.82. Формат 84×108[1]/32. Шрифт литературный. Печать высокая. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 13,06. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 1046. Цена 55 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Фурманов Д. А.

Ф95 Чапаев: Повесть/ Рис. В. Щеглова. Оформл. Е. Аносова.— Переизд.— Л.: Дет. лит., 1983.—238 с., ил. (Школьная б-ка.)

В пер.: 55 коп.

Переиздание известной повести о легендарном полководце гражданской войны В. И. Чапаеве.

Ф $\frac{4803010102-117}{М101(03)-83}$ 251—83 Р2

рмл.
38 с.,

анской

Р2

55 коп.